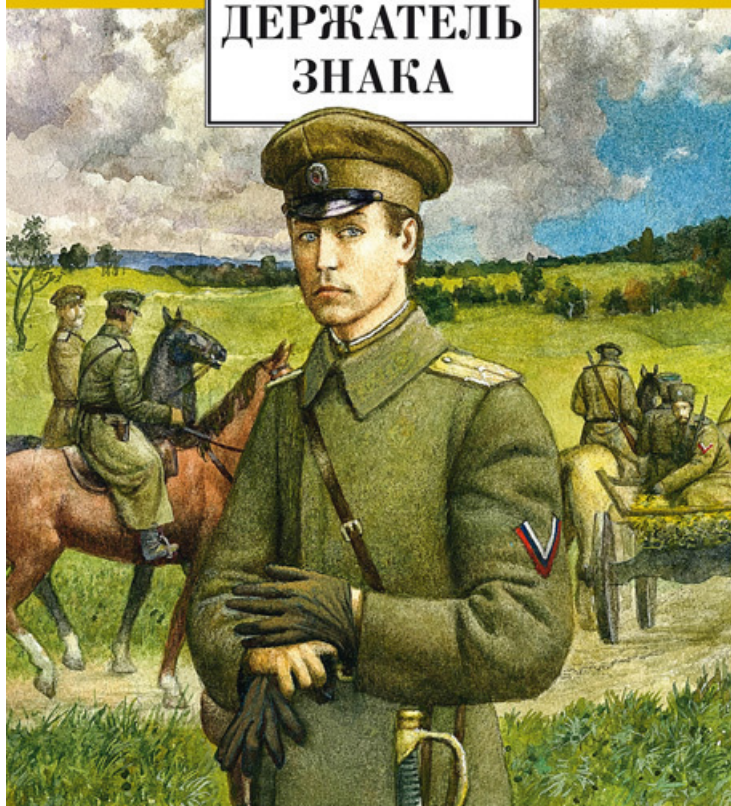


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Елена Чудинова

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗНАКА



Елена Петровна Чудинова
Держатель Знака
Серия «Школьная библиотека
(Детская литература)»

Текст книги предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40000243

Держатель Знака. Роман в трех книгах: Детская литература; Москва;

2018

ISBN 978-5-08-005916-2

Аннотация

Роман посвящен самому трагическому периоду нашей истории – революции и Гражданской войне. В центре повествования – герои Белого движения, поколение ровесников века, ушедших в Добровольческую армию с гимназической скамьи. Каждый из них выбирает свой путь, мученический и одновременно трагически прекрасный, – между честью и бесчестьем, верностью и предательством, жертвенностью и изменой, спасением России и падением в бездну хаоса и разрухи.

В романе много тайн и загадок, которые связаны с древнеегипетским христианским талисманом, полученным главным героем, 17-летним прапорщиком Сергеем Ржевским, на передовой от старшего брата. От талисмана, словно от брошенного в воду камня, расходятся сюжетные круги,

связывающие воедино различные времена и события романа: жизнь петербургской богемы и наступление армии генерала Юденича на Петроград, мистерии Древнего Египта и набеги викингов, интриги масонских лож XVIII века и лагерные этапы Туруханского края, борьба контрреволюционного подполья и парижские будни русской эмиграции.

Среди персонажей романа – исторические лица: архиепископ-хирург Лука (В. Ф. Войно-Ясенецкий), египтолог В. С. Голенищев, психиатр Н. В. Даль, поэт Н. С. Гумилёв и др.

Для старшего школьного возраста.

Содержание

От автора	8
Книга Первая	13
1	15
1918 год. Дон. Добровольческая армия	22
1912 год. Москва	30
Дон. Бой под хутором Елизаветинским по линии Вёшенская – Тихорецкая	40
2	48
1917 год. Петроград	48
1915 год. Петроград	53
1917 год. Петроград	59
3	63
1918 год. Дон. Бой под хутором Елизаветинским	63
4	71
5	75
6	83
7	87
8	89
9	92
10	99
Книга Вторая	110
1	112

2	116
3	118
4	123
5	125
6	128
7	131
8	140
9	150
10	154
11	160
12	164
13	169
14	174
15	176
16	183
17	201
Конец ознакомительного фрагмента.	204

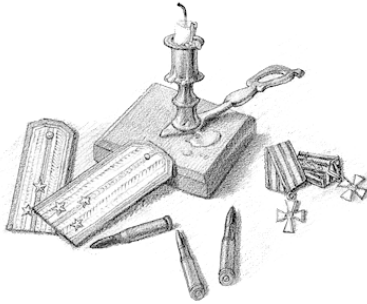
Елена Петровна Чудинова
Держатель Знака
Роман в трех книгах



HEENA
scripsit

От автора

*Доброму другу
Наталии Романовне Альбрехт*



Кто уцелел – умрет, кто мертв – воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
– Где были *вы*? – Вопрос как громом грянет,
Ответ как громом грянет: – На Дону!

– Что делали? – Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.

Марина Цветаева

А ведь он до сих пор стоит на моей книжной полке – только протянуть руку: потрепанный орфографический словарь, служивший мне в школьные годы. И в него шариковой ручкой слово «Дон» вписано. Мы были – поколение внуков. А пророчества поэтов должны сбываться.

На дворе стояла та самая власть, что победила нас (мы так и говорили – не «белых», а просто «нас») в Гражданской войне. Я, совсем юная, писала эту книгу, а мои не менее юные друзья ее читали. Мы спорили, обсуждали, мы даже, не побоюсь признаться, разыгрывали то, что теперь называется «ролевыми играми». Мы присягали на верность побежденным. Опубликовать эту книгу тогда представлялось совершенно невозможным.

С тех пор переменилось многое, а мне до сих пор странно сознавать, что в мой дом приходят молодые люди, которые, по их собственному признанию, выросли на «Держателе Знака». Я знаю, что эту книгу любят скауты. Это очень радостно для меня. Но когда я писала «Держателя», в моей стране не было скаутов. И невозможно было представить, что когда-нибудь появятся. Ведь со скаутами было покончено в конце 1920-х годов, когда последние мальчишки, тайно собираясь в лесах, пели:

Нас десять, вы слышите, десять!
И старшему нет двадцати,
Нас можно, конечно, повесить,
Но надо сначала найти!

Нашли, я думаю, всех.

А сегодня то там, то здесь мы видим подростков в защитной форме, с дорожным посохом и галстуком, концы которого к вечеру должны быть завязаны в три узла, обозначая три сделанных добрых дела.

Жизнь переменялось, очень переменялась. Не могла я представить и того, что, уже совсем-совсем взрослая, приму участие в мемориальном Ледяном походе, на 99-ю его годовщину. Что к этому времени в нашей стране будут люди, считающие долгом чести пройти дорогами боевой славы белых воинов – на Юге России.

Не могла я представить и того, что именем выдающегося хирурга – архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) будут называть учебные заведения, что о нем будут снимать документальные фильмы.

Все это: и Белое воинство, и скауты, и архиепископ Лука – все запретное в годы нашей юности и прекрасное есть на страницах этой книги. Мы жили этим – подспудным, тайным, любимым.

Но миновало столетие с начала Гражданской войны. Во дни тех страшных дат я хотела поделиться с новым поколением любовью к защитникам России, когда-то пробиравшимся – голодными и нищими, оставя семьи, – на Дон. Я хочу, чтобы читатель знал, какими они были – юные белогвардейцы (а возраст белого добровольца частенько отсчитывал-

ся от 14 лет). Во всем ли белые были правы, не зная многого, спустя столетие известного нам? Это знает История. Я уверена в одном: мы можем ими гордиться. Гордиться вне зависимости от того, «белыми» или «красными» были наши собственные предки. Свой выбор каждый делает сам. А добровольцы были прежде всего – русским народом. Сегодня русский народ – это мы.

Я желаю нам всем знать и любить нашу родную историю.

Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли,
А останетесь вы в песне – белы-лебеди!
Знамя, шитое крестами, в саван выцвело.
А и будет ваша память – белы-рыцари.
И никто из вас, сынки! – не воротится.
А ведет ваши полки —
Богородица!

Марина Цветаева

Мы дрались там... Ах да! Я был убит.

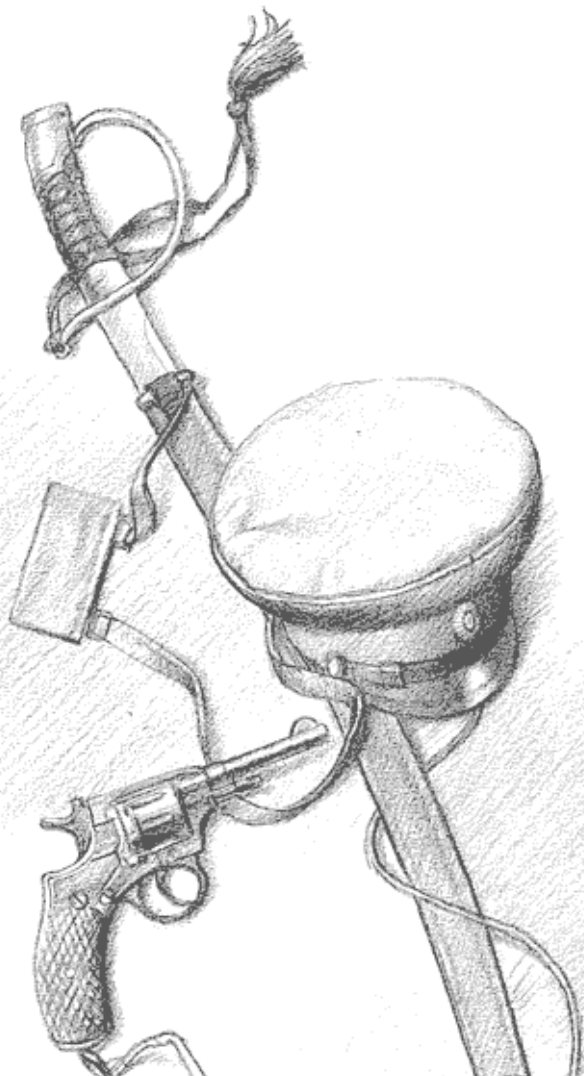
Николай Гумилёв



Книга Первая
Тени
(март 1919 года: бои
Северного корпуса генерала
Родзянко в Принаровье)

Deus conservat omnia¹

¹ Бог сохраняет всё (лат.).





В сторожке удушливо пахло едким и влажным паром, поднимавшимся от шинелей, разложенных на печке.

– Стреляют, Юрий... Еще стреляют, слышишь?

– Расстреливают, Вишневский. – Некрасов поднял голову: в пробивающемся через слепое заледеневшее окно утреннем свете античные черты его лица показались Вадиму серыми и страшными. – Кому там, в бога душу, стрелять? Конечно, в лесу сейчас наши, но в таком же нелепом положении, что и мы. Соединиться нет никакой возможности: господа това-

рищи прочесывают лес. Отсюда и стрельба. Остается сидеть и... пить... – Юрий негромко рассмеялся и, взболтнув оставшийся в стакане самогон, выпил.

– Мне больно на тебя смотреть. Как ты можешь, Некрасов? – По обыкновению юнкерских дортуаров², они чаще всего были друг с другом на «ты», но по фамилиям. – Как ты можешь спокойно слушать эту стрельбу?

– Зрители спектакля в любой момент могут сделаться действующими лицами. Ergo³ – ты тоже можешь не беспокоиться.

Вишневному, от острого ощущения нависшей опасности несколько не опьяневшему, действительно было больно, как всегда бывало в тех случаях, когда вылезало наружу циничное бретёрство Юрия. Пожалуй, только Юрий и был на такое способен – в сторожке лесника, в полном красных лесу, пить словно от гарнизонной скуки, за сотню верст от противника...

– Кстати, – качнувшись на табурете, произнес Юрий, – не перемена ли декораций?

Он напряженно прислушался и резко вырвал из кобуры наган. Взял на прицел дверь и Вишневицкий, тоже услышавший скрип на крыльце.

Тяжелая, набухшая дверь со стуком распахнулась.

На пороге, с наганом в руке, стоял молоденький прапор-

² *Дортуár* – общая спальня в закрытом учебном заведении (*фр.*).

³ Следовательно (*лат.*).

щик в белом, ловко сидящем романовском полушубке, который за версту изобличал в нем штабного.

– Извините мое вторжение, господа, – негромко сказал он, опуская наган. Приятный голос, сейчас звучащий чуть хрипло, с такой же достоверностью выдавал своими интонациями москвича.

– Поздравляю вас, поручик. В нашу келью запорхнула штабная птичка! – снова засмеялся Некрасов. – Чувствуйте себя как дома, г-н прапорщик.

– Спасибо, вы крайне любезны, – с легкой насмешливостью в голосе ответил прапорщик, скорее падая, чем садясь на лавку у двери. Глубоко, с облегчением вздохнув, он положил наган рядом, вместо того чтобы засунуть в кобуру, и снял фуражку – упали на глаза отросшие темно-русые волосы.

«Господи, какой еще мальчик!» – невольно подумал Вадим.

– Вы, похоже, также побывали во вчерашней передраге, г-н прапорщик? – спросил Юрий.

– Да, г-н штабс-капитан. Я прибыл вчера с пакетом из штаба – едва проскочил через окружение. Собственно, я должен был немедля обратно, но этого уже не получилось, можете себе представить. – прапорщик рассмеялся, будто рассказывал о чем-то веселом. – Отборные части бросили, к слову сказать. Красные курсанты Новгородских пехотных курсов командного состава, части генерала, ах, pardon, красного ко-

мандира Николаева⁴...

– Так это вы привезли вчера тот пакет из штаба?

– Да.

– А известно вам, что было в этом пакете?

– Разумеется, нет.

– Беру на себя смелость раскрыть вам этот секрет Полишинеля. Вы прорывались давеча *через* окружение с тем, чтобы сообщить, что оное *готовится*. Таким образом, героизм вашего поступка несколько умаляется его исключительной «целесообразностью». Ох и крыли же мы штабных!

– Надо думать! – Прапорщик улыбнулся. – Отменный анекдот с театра военных действий. Впрочем, и не такое порой случается. Кстати, извините мою неучтивость, господа! Прапорщик Сергей Ржевский.

Невольно вздрогнув, Вадим украдкой взглянул на Юрия. Тот словно бы не обратил на прозвучавшую фамилию внимания, но казался уже совершенно трезвым.

– Я в какой-то там боковой линии потомок рубаки гусара, – добавил прапорщик небрежно, несколько недоумевая, почему его фамилия вызвала эту заминку.

– Поручик Вадим Вишнеvский.

– Штабс-капитан Юрий Некрасов. Вы бы подсаживались

⁴ Николаев А. П. (1860–1919) – командир 9-й стрелковой дивизии Красной армии с ноября 1918 г. Участник Первой мировой войны, закончивший ее в чине генерал-майора. Выпускник юнкерского училища. Происходил из семьи просто-го солдата. В мае 1919 г. взят в плен и с позором повешен в Ямбурге за измену воинской присяге.

к столу, прапорщик.

– Благодарю вас. – Сережа (Вадим отчего-то сразу же стал называть про себя прапорщика Сережей – так удивительно шло уменьшительное имя к невзрослому этому офицеру) засмеялся снова. – Немного погодя. Что самое забавное – я только что проскакал не меньше версты, а теперь не могу сделать двух шагов!

– Вы ранены, Сережа?! – Имя само невольно сорвалось у обеспокоенно вскочившего Вишневого. – Что же вы молчите?

– Пустяк, право... В ногу – навывлет. Крови немного вышло, а так...

– Ну-ка... – Некрасов легко поднялся и подошел к Ржевскому. – Так... Так...

– Ох!

– Попал... Вы зря полагаете, что ранены навывлет, юноша.

– Видите ли, г-н штабс-капитан, – морщась от боли, но в прежней небрежно-насмешливой манере ответил Сережа, – я по наивности полагал, что если дырок две, то рана – сквозная.

– Между прочим, их три. Две было пули. Одна из них... чувствуете?

– Да... Вы правы.

– Пожалуй, придется ее оттуда извлекать. – Некрасов, нахмурясь, вытащил из кармана перочинный нож. – Хирургических инструментов нет и, что небезынтересно, не предви-

дится.

– Что же поделать – обойдемся без них. – Сережа, начавший бледнеть уже на глазах, улыбнулся Некрасову.

– М-да... Вишневский, у тебя, кажется, оставалось еще кельнской воды... – Юрий провел пальцем по лезвию. – Больше стерилизовать этот, с позволения сказать, ланцет особо нечем... Хотя постой-ка! Еще можно прокалить! – Юрий усмехнулся. – Впрочем, даже если что и попадет, загноится ваша рана, может статься, и не успеет.

Вишневский все же извлек из потрепанного несессера стеклянный флакон, по дну которого переливалось небольшое количество жидкости, и передал Юрию.

– Теперь, пожалуй, сойдет. Порви пару платков: бинта не хватит. Да, кстати, – Некрасов подошел к столу и, плеснув в мутный граненый стакан самогону, протянул его Сереже, – выпейте-ка! Конечно, это несколько уступает наркозу у первоклассного дантиста.

– Спасибо. – Сережа отвел рукой остро пахнущий самогон. – Не надо, это лишнее.

– Соразмеряйте свои силы, молодой человек, – с поразившей Вадима ненавистью процедил Юрий. – Пейте! Я не одну минуту намереваюсь ковыряться в вашей ноге.

– Благодарю вас, г-н штабс-капитан. – Сережа скользнул по лицу Некрасова твердым, неожиданно взрослым взглядом серых глаз. – Я знаю себя и свои силы.

– Смотрите... – Некрасов пожал плечами. – Вишневский,

помоги-ка ему...

Последовавшие за этим минуты Вишневский избегал смотреть на посеревшее лицо Сережи. Ему, казалось, проще было следить за движениями окровавленного лезвия, залезавшего все глубже и глубже в рану. Но, несмотря на все усилия следить только за руками хмуро сосредоточенного Юрия, он все же видел краем глаза изо всех сил закусенные губы, прилипшую ко лбу прядь волос и как-то на редкость спокойно, словно не от боли, а от очень большой усталости закрытые глаза.

«Странно, у кого-то я видел уже это обыкновение: когда очень больно – закрывать глаза. Не зажмуриваться, а именно закрывать, как будто веки сами опустились от тяжести боли... Ах, ну да, у кого же еще! Необычная, несколько томная манера, словно говорящая о слабости... Мальчик, однако, далеко не слаб... Даже не застонал ни разу, а боль, несомненно, адская. Когда это, наконец, кончится?»

– Есть! Полюбуйтесь, прапорщик. – Некрасов держал в пальцах окровавленную пулю.

– Нет, спасибо. – Сережа слабо улыбнулся искусанными серыми губами. – Я не могу похвастаться, что хорошо переношу вид крови.

– Очевидно, вы еще не очень привыкли к ее виду, – уже доброжелательнее рассмеялся Юрий.

– У меня, пожалуй, была возможность привыкнуть, – от-

ветил Сережа и не без некоторой внутренней позы прибавил: – Хотя меня самого убивали всего один раз.

1918 год. Дон. Добровольческая армия

– Это, кажется, твой – гнедой у коновязи?

– Что, неплох? – Евгений взглянул на Сережу и улыбнулся. – Рысь немного тряская, и с капризами, как всякая хорошая лошадь.

– А зовут?

– Вереск.

В солнечном луче кружилась пыль, но в хате было полутемно. От длинной белёной печи веяло прохладой.

Сережа сидел на подоконнике, у настёжь распахнутого оконца. В палисаднике росли высокие ярко-малиновые мальвы и крупные подсолнухи. За палисадником в окошке видны были ветхая от времени коновязь и пустая, раскалённая поднявшимся в зенит солнцем площадь.

В свои семнадцать лет Сережа выглядел четырнадцатилетним: сероглазый, со слабым румянцем на щеках, с темно-русыми, немного жесткими волосами, давно не стриженные пряди которых лезли в глаза и почти закрывали шею.

Братья совсем не были похожи друг на друга: Евгений был бледен, до обманчивого впечатления хрупкости тонок в кости (по-мальчишески долговязый и худой Сережа был крепче сложением), темноволос. Его глаза были темно-карими,

большими, с ускользяще-тревожным выражением.

Евгению казалось, что за все это время брат словно и не повзрослел – только вытянулся... Господи, как же странно видеть на его плечах привычные погоны... ремни... шашку... шпоры на пыльных сапогах...

– Вереск... Хорошее имя для такой масти. Тэки⁵ вообще великолепные лошади. – И в голосе Сережи звучали какие-то совсем мальчишеские интонации. Все в нем было таким же, как раньше, даже жесты и черты, которых не помнил в нем Евгений, всплыли в памяти, как будто и не забывались никогда, – привычка резко вздергивать подбородок, обаяние чуть виноватой улыбки. – Хотя больше я люблю белых лошадей. Когда-нибудь у меня будет конь чистой арабской породы. После войны, конечно. И сбруя в восточном стиле – закажу по своему эскизу.

– Мой милый, ты – европеец с головы до пят, а твое представление о Востоке – эстетская стилизация.

– А это спорный вопрос, что именно понимать под европейцем. Но Востока я действительно не понимаю. Я люблю только Древний Египет. Женя, а ведь ты не очень рад меня видеть.

Евгений вздрогнул. Последняя Сережина фраза вернула его из воспоминаний, куда он незаметно для себя начал погружаться, – звуки Сережиного голоса как будто приближали, делали реальнее безумно далекое видение московской

⁵ Имеется в виду ахалтекинская порода.

квартиры.

...Всегда полутемная, со слабым запахом маминых духов в воздухе; с ветками белоснежной сирени в хрустальных вазах на полированной глади рояля в начале лета; с белоснежными, как сирень, ледяными узорами на высоких окнах зимой, к которым в детстве можно было прикладывать нагретые пятаки и смотреть в круглый глазок на улицу; с потемневшим дубовым паркетом; с напольными часами в коридоре, за которыми прятался маленький Сережа, – московская квартира всегда была для Жени Ржевского ненавистной, любимой и ненавистной...

Все здесь было незыблемо: книги в кожаных переплетах, огромный письменный стол в папином кабинете, голубые с серебром обои в гостиной, картина с голубоватым туманным пейзажем Коро...

Этот мир казался Жене ненастоящим, странной изящной безделушкой, похожей на мамин японский веер... Было невозможно (да Женя и не пытался сделать это) увязать игрушечный мир семьи в единое целое с тем, как плывет яркий электрический свет в ресторанных залах, как с каждой стопкой водки постепенно теряют очертания, все больше плывут столики, салфетки, лица женщин, музыка... Легким-легким становится тело... Как связать мир, в котором жила его семья, со смятыми, серыми в утреннем свете постелями в номерах... с умывальниками в углу... Или с той оスカ-

ленной, поросшей зеленой влажной шерстью мертвой обезьяньей мордой... Алый рот открыт, с желтых клыков капает тягучая слюна... Протянутая лапа, а в коричневых мертвых бусинках глаз такое... Бежать! Куда бежать?! Стоит у двери, тянет лапы...

В окно! Прыгнуть из окна!

– Женька, зараза! Держите его, дураки, он же прыгнет!

Алешка Толкачев – лицо над ним белое, светлые волосы прилипли ко лбу... Почему лицо сверху? Ах, ясно – он на полу, заплеванной пол Володькиной квартирке на Ордынке, окурки... Удары по щекам:

– Женька, Женька, ну Женька же!

Иногда Женю тянуло назад, в тихий, игрушечный, незыблемый мир... Он часами валялся в постели с книгой, делал за Сережу задания по-латыни, писал символистские стихи... Услышав доносящиеся из гостиной с детства любимые звуки «Лунной сонаты», неслышно подходил к маме, целовал тонкую холеную руку в тяжелых кольцах и, по детской привычке, опускался перед ней на колени, уткнув лицо в теплую темно-серую шерсть ее платья...

– Женечка, мальчик, когда ты перестанешь нас огорчать?.. – Мамина рука перебирала его длинные волнистые волосы. – У меня все время беспокойно на сердце, очень беспокойно на сердце... Папа хочет, чтобы ты изучал право, ты знаешь...

– Я уже начал заниматься, мама, – лениво отвечал Женя,

немного снисходительно взирающий на родителей с высот своего изнаночного опыта.

Но домашняя жизнь вскоре вновь начинала тяготить его. Для домашних Женины «затишья» всегда проходили одинаково: первые дни Женя бывал спокойно-оживлен, словно распространяя на всех вокруг свою обаятельную веселость... Затем прекрасное настроение сменялось каким-то внутренним беспокойством, он становился нервен и раздражителен. Затем впадал в глубокое и черное уныние и наконец срывался...

Собственно, то, что изучать право Женя уехал в Питер, и было очередным вариантом срыва, очередным, только более продолжительным побегом из тихой домашней пристани.

«Ведь я и не знаю его совсем... Словно в первый раз вижу. Дико, странно, так вот ни с того ни с сего понять, что у тебя есть брат, жизнь которого для тебя – самое дорогое из всего, что тебе дорого. Потому что он – чудо, которого я почему-то не видел раньше... Он не изменился, ничуть не изменился, словно его не коснулась армейская грязь... Он какой-то чистый, удивительно, нечеловечески чистый... И быть чистым для него так же естественно, как дышать. Не знаю, но голову на отсечение, что его этот „оскорбительно жгучий бич“, как сказано у Гумилёва, не касался, такие губы – серьезные и чистые – не могли быть осквернены прикосновением чего-то грязного, случайного... Господи, да что со мной такое?»

Я чуть не молиться готов на эту его таинственную чистоту... Невыносимо больно, что он – здесь, ему здесь не место. А ведь когда я узнал, что он после гимназии поступил на ускоренные военные курсы, собираясь – тогда еще – на германскую, я не придавал этому значения и как-то сразу забыл об этом. И вот он здесь.

Мне-то здесь место, по многим причинам – место. Это искупление: и за Нелли, и за то, что я как-то сразу сломался, поплыл потоком своей мути... Но и порчинка тоже была – изначально. Таким, как он, я никогда не был».

– А ты не ответил. – Сережа курил, стряхивая пепел в окно.

– Если хочешь правду... Я счастлив тебя видеть, но, будь это хоть тысячу раз правильно, радоваться тому, что вижу на тебе военную форму, все же, извини, не могу. Уж очень нейдет она тебе, Сережа.

– Избитая философская проблема: несовпадение формы и содержания. – Сережа засмеялся и погасил о подоконник окурок. – Но какова бы ни была зависимость одного от другого, привыкнуть к этой форме я сумел. Скажи, Женя, как ты понимаешь Причастие?

– Как символ.

– Это было бы символом, если бы это был обряд. А это Таинство.

– Я отнюдь не исключаю эзотерического наполнения происходящих при нем действий.

– Относя эзотерическое наполнение к действиям, ты выставляешь за суть Таинства суть обряда. Если, конечно, ты не отказываешь обряду напрочь в эзотерическом содержании.

– А как ты понимаешь Пресуществление? – спросил Евгений, с жадным интересом вглядываясь в лицо брата.

– Буквально. Я пью Кровь и ем Тело. Это страшно. Но это необходимо. Иначе не будешь иметь части с Ним. Причастие – часть – сопричастность. Сопричастность крови. Меня привела сюда кровь Причастия.

– Что ты имеешь в виду?

– Бежать своей части в посланном испытании – трусость. Трусость уклоняться от кровавого причастия. Женя, сейчас грязно быть чистым. Нет, чистеньким. Потому что сейчас это возможно только за чей-то счет. Я причастен к крови. Я лью и проливаю ее – значит, причастен вдвойне, как тысячи других, идущих страшной человеческой дорогой, и я не пытаюсь с нее свернуть.

– We always kill the men we love⁶.

– А знаешь, Женя, ведь по-настоящему убиваешь только один раз. Первый. Ток захлестывающего торжества – от сжавшей наган руки – по всему твоему существу, ток, пронизывающий как-то странно слившиеся воедино душу и тело... А потом, нет, не раскаяние, не страх, это все чушь, книжность, Женя... Просто как-то не веришь, что это сделано тобой... Ведь в это так до конца и не веришь.

⁶ Мы всегда убиваем тех, кого любим (англ.).

– Сережа...

– Да, Женя?

– Ты знаешь... Мне хочется тебе отдать одну вещь. Не спрашивай почему. Просто мне кажется, что так было бы правильно.

Не дожидаясь ответа, Евгений расстегнул ворот – Сережа заметил, что брат стал носить нательный крестик. Под крестиком же на шелковом шнурке висела небольшая синяя ладанка из замши. Евгений снял ладанку, и, словно избегая возникшей театральности, не одел, а просто протянул ее Сереже.

– Что в ней?

– Увидишь... Потом как-нибудь. Она не зашита.

Почувствовав, что происходящая сцена не должна быть продолжительной, Сережа слегка улыбнулся и, вытаскивая портсигар, заговорил о другом.

– Знаешь, Женя, а все же хорошо, что она возникла именно здесь, на Дону.

– Что?

– Белая идея.

– Река русской славы? Да, все это довольно элегантно складывается в символ.

– Странно, когда символ складывается на твоих глазах.

1912 год. Москва

Женя не мог простить себя: спустя несколько лет мысль о невозможной этой нелепости обжигала его такой же злостью, как в тот, отступающий все дальше день...

Он не помнил лица Того Человека, хотя в памяти остались даже мельчайшие подробности солнечного июньского дня. Радостное, легкое ощущение сброшенной гимназической формы – надоевшей, суконной, тяжелой, словно впитавшей в свою ткань дух гимназических коридоров... В первый раз надетый летний костюм из белой фланели – последняя парижская мода... Из-за этого элегантного облачения (вызвавшего папино ворчание по поводу «глупых трат не по средствам») четырнадцатилетнему, но уже вытянувшемуся почти до настоящего своего роста Жене казалось, что все многочисленные прохожие принимают его за взрослого... Было ли так на самом деле? Женя затруднился бы ответить – он только отчетливо помнил тогдашнюю самодовольную радость, засевшую где-то в груди, – радость, носившую его в те дни по Москве...

Стремительной, летящей походкой обогнув храм Христа Спасителя и маленькую церковь Ильи Пророка, он вышел на Пречистенский бульвар.

Женя помнил тяжесть небольшого томика Ницше, лежавшего во внутреннем кармане: он обещал непременно зане-

сти его перед своим отъездом в Крым Гале Олихановой – хорошенькой рыжеволосой шестикласснице.

Женя помнил свой путь по Пречистенскому: уткнувшегося в газету старика на белой скамейке, его трость с набалдашником в виде головы спаниеля, игру теней и света от трепещущей на легком ветерке листвы, детей у криво размеченных мелом клеток, смех и разметавшиеся из-под белой соломенной шляпки золотистые локоны прыгавшей на одной ножке девочки лет семи...

Прежде чем свернуть с Пречистенского на Сивцев Вражек, где жили Олихановы, Женя вытащил из кармана часы: до возвращения Гали из частной балетной студии оставалось не менее получаса. Жене не хотелось провести эти полчаса в решительно неуместной беседе о – пропади они пропадом! – гимназических делах со словоохотливой madame Олихановой. Да и среди прочих домочадцев не было никого мало-мальски достойного отдать должное великолепию блистательной Жениной особы.

Усевшись на полузатененной скамейке, Женя раскрыл на первой попавшейся странице нашумевшее «Так говорил Заратустра»⁷.

«Я стал бы верить только в такого бога, который умел бы танцевать».

Мимо проходили люди, до которых Жене не было никако-

⁷ Книга Ф. Ницше.

го дела, но которые, безусловно, не могли не обратить внимания на элегантного молодого человека, погруженного в чтение. Что он читал? Какие таинственные внутренние изменения вызывали в нем эти строки? Им, проходящим мимо, не дано было этого узнать.

«Я уже не чувствую, как вы, эта туча, которую Я вижу над собою, эти черные тяжелые громады, над которыми Я смеюсь, – это ведь ваша грозная туча».

Разумеется, и Гале не имело особого смысла разъяснять это, но Женя и не собирался этого делать.

«Вы, когда стремитесь подняться, смотрите вверх. Я же смотрю вниз, ибо Я поднялся уже».

– Смею вас уверить, молодой человек, так Заратустра никогда не говорил, – неожиданно произнес рядом с Женей чей-то насмешливый голос.

– Почему вы в этом столь уверены? – Женя вскинул глаза на севшего рядом молодого человека средних лет, одетого с американской спортивной небрежностью.

До этого момента Женя помнил всё... Почему он не запомнил лица?.. Смутно возникало только странное сочетание смуглой кожи с нордическими чертами... Может быть, это был загар – только очень темный, гораздо темнее крымского. Когда Женя пытался вспомнить больше, начиналась мучительная головная боль.

– Да попросту потому, – незнакомец добродушно рассме-

ялся, – что заговори почтенный маг подобным несуразным манером... гм... собственные же приближенные, кои вряд ли были легкомысленны, как наши современники, к фактам психической аномалии, подхватили бы беднягу под белые руки и доставили в соответствующее древнеперсидское медицинское заведение. Как бы мог Зороастр почитаться за мудрейшего из мудрых, если бы он нес такую хвастливую ахи-нею?

– Дело вкуса.

Женя криво усмехнулся, внутренне ощущая некоторую растерянность, – прежде он сталкивался только с двумя отношениями к подобной литературе. Первое – родительское (и иже с ними) было негодующим, но бессильным в своем негодовании, оно было снисходительно-понятно. «Что с них взять – их детство пришлось на шестидесятые годы». Второе – и его собственное в том числе – более или менее жадное, но, во всяком случае, серьезное, – «кто понимает, тот понимает»... Эта насмешка – вместо родительского негодования – говорила о чем угодно, только не о непонимании причин, побудивших Женю потянуться к этой книге. Кроме того, это была насмешка сильного, чья сила несла в себе смутную угрозу тому, что составляло часть Жениного четырнадцатилетнего мира.

– Именно *вкуса*. – Собеседник подчеркнул последнее слово. – Уж лучше б вы надели на розовую сорочку зеленый галстук.

– Извините?!

– Вы безвкусны сейчас, и я это докажу. Прежде согласитесь со мной в том, что вы читали сейчас эту книгу не ради нее самой, а сугубо ради роли, которая вам импонирует. Вы нравитесь себе погруженным в чтение сочинения Ницше, не так ли? Когда я увидел вас за этим занятием, ваш вид невольно напомнил мне каирских павлинов, восторгающихся красками собственного хвоста.

Безжалостный удар по самолюбию попал в цель: Женя не мог не признать, что в суждении незнакомца была правда, и эта правда была отвратительна даже не сама по себе, а тем, что восторженное самолюбование, бывшее весьма приятным втайне, получило, вытасченное на солнышко за ушко, довольно жалкую и комическую окраску. Но Женя не намеревался так просто дать себя высмеять.

– Простите... Это бездоказательно! Почему я не могу читать эту вещь из-за ее содержания?

– Потому что его нет. – Глаза незнакомца смеялись. – Есть некая посредственная общая идея и очень большое количество эмоций, которые наполняют текст, состоящий из неконтролируемого разумом потока случайных ассоциаций и образов, видимостью смысла. Все это – область психиатрии. Содержательность текста равна едва ли не нулю – очень характерный клинический признак. Психически здоровый человек не может читать эту книгу ради нее самой: ему нечего в ней найти.

– Докажите!

– Извольте... Раскроем где угодно сей поклеп на великого мага. Вот небольшая глава «О чтении и письме». Если вы сейчас перескажете мне ее содержание, я признаю себя битьим.

– С вашего позволения, я рискну.

Женя торопливо впился глазами в мелкую убористую печать. На губах его заиграла торжествующая улыбка. Затем она исчезла, и в лице проступила растерянность. Женя поднял голову.

– Хотите, я сделаю это за вас? Сначала вам показалось, что вы видите развитие основной мысли. Через несколько абзацев выяснилось, что эта мысль завела вас в тупик, и обнаружилось, что развивается уже непонятно откуда взявшаяся другая. В ее поисках вы обнаружили, что абзацы вообще не связаны логической последовательностью, хотя нельзя сказать, где именно она нарушается.

– Хорошо, пусть так. Но разве поэтический текст не может просвещать более сложным образом, например, через эмоции?

– Поэтический – да. Но полноте, вы это назовете поэзией? Женя промолчал.

– Милый мальчик, – насмешка в голосе собеседника стала тверже и холоднее, словно этот человек, так ненавидимый Женей в эту минуту, начал бить наотмашь беспощадным острым клинком, – неужто вы всерьез можете съесть та-

кое блюдо? Мистика, опубликованная определенным тиражом, прошедшая через редактора и наборщиков! Переведенная на несколько европейских языков! Мистика, поданная в таком виде на блюде широкому читателю – от романтических гимназистов до интересничающих горничных! И в этом может, по-вашему, сохраниться какое-то рациональное, простите, иррациональное зерно? Вы кажетесь мне умнее.

Женино лицо горело от стыда: он отчаянно, до стука в висках, до холода в сердце ненавидел этого человека, ненавидел с такой силой ненависти, которой не подозревал в себе прежде. Но если бы этот человек приказал Жене спрыгнуть на мостовую с крыши ближайшего дома, – Женя пошел бы и спрыгнул.

– Мой мальчик, нет большей пошлости, чем пошлость в мистике. А вы не кажетесь мне пошляком.

Женя послушно поднял голову, подставляя лицо прощупывающему тяжелому взгляду.

– Музыка?... Живопись?..

– Поэзия. – Женя взглянул на незнакомца тверже.

– А у вас незаурядная творческая сила. Вернее, возможность грядущей силы. Все ваши настоящие творения еще в будущем и... довольно отдаленном. – Взгляд незнакомца отпустил Женю и скользнул по заглавию захлопнутой книги. – «Заратустра»... Пожалуй, это слово и заключает в себе притянувший вас магнит. Вы интересуетесь Персией и Ираном?

– Это очень для меня важно! – в Женином голосе прозвучало

чало нескрываемое волнение. – Полгода назад мне снился сон... Поле красных маков, по которому, как актеры с противоположных концов сцены, движутся навстречу друг другу белый единорог с серебряным рогом и черная пантера в золотой короне... Плавное движение – их пути на мгновение пересекаются, а потом они уже движутся не навстречу, а удаляясь друг от друга... А за полем – огромный храм; день, но в нем прохлада и полумрак... Громады колонн... А на каменных плитах пола стоят высокие металлические светильники – в них полыхает огонь... И чья-то, может быть моя, рука бросает в огонь щепотки мягкого серого порошка... И огонь, пляшущий в светильнике, начинает менять цвет – становится белым, зеленым, голубым... И это – Персия или Иран.

– Это появляется в ваших стихах?

– Нет... Пожалуй, я когда-нибудь напишу об этом... Только...

– Только не всё отдадите словам.

– Не всё.

– Вы поняли уже, что то, что движет вами, должно быть скрыто. Настоящее знание почти никогда не бросается в глаза. Есть слова на могиле одного еврейского мудреца, слова в похвалу: «Никогда не осквернил чистоты бумаги». А вы пытаетесь что-то извлечь из популярных изданий.

– А где же взять это знание? Путешествовать, как Rimbaud⁸?

⁸ Рембо Ж. Н. А. (1854–1891) – французский поэт, символист, путешественник

– Нет. Для кого-то этот путь верен, но вам идти не им... Вам... – Незнакомец чуть промедлил, и Женино сердце стало ледяным от сумасшедшей надежды... – Вам – слушать себя и творить.

– Только-то? – Женя криво усмехнулся, пытаясь скрыть за этой усмешкой свое разочарование.

– Это очень много. Звучит прозаически, но надо иметь мужество услышать и прозу.

Женя почувствовал, что рука незнакомца легла на его плечо. От этого прикосновения шла успокаивающая ровная сила.

– Вас манят эффектные побрякушки всех этих антропософий и написанных европейцами новых «йог», но бегите соблазна, и вам не будет потом стыдно за свою духовную вульгарность. Кстати, для других не существует угрозы такого стыда: у них толще кожа. Нет, конечно, бегите не в прямом смысле – общайтесь и со штейнерианцами, и с последователями Блаватской, но при этом соблюдайте дистанцию, как в манеже, – копыта впереди идущей через уши своей. И не забывайте: то, что вы бережете в себе, куда важнее того, что вы видите вокруг. Когда понадобится, ваша судьба и через оккультные журфиксы сумеет явить чудеса.

– А ведь это несколько обидно – идти по жизни вслепую,

по Черной Африке. Прославился в шестнадцатилетнем возрасте, а в 19 лет бросил искусство и не написал больше ни одной рифмованной строчки. В парижский, творческий, период известен эпатирующим поведением. Принимал участие в военных столкновениях между африканскими племенами.

без учителя и знаний. Слегка унижительно. – Женя взглянул на собеседника почти с вызовом.

– Верить себе и самому быть своим учителем, отбросив пустую шелуху теорий, – упрямо продолжал незнакомец. – Вы талантливы, хотя сами еще не почувствовали своей силы. Вам будет очень непросто – соблазны летят на силу, как духи на запах жареного мяса. Только что вы были вполне довольны – вы играли элегантно́й игрушкой, а вам предложили не заводить эзотерических умствований дальше порога церкви – какая проза! Вы хотели бы вновь стать собою пятнадцатиминутной давности?

– Нет! Лучше смотреть в глаза правде, как бы прозаично она ни выглядела.

Женя помрачнел. Тот, кто только что отнял недавнюю игрушку, не дал взамен того, на что он почти надеялся одно сумасшедшее мгновение.

– Поменьше сверхъестественного, мальчик. Ходить в церковь неинтересно – она не обещает мгновенных эффектов и чудес – и в этом права. А Папюс⁹ со Штейнером¹⁰ еще никого до добра не доводили.

Рука незнакомца коснулась безвольно разжатой Жениной руки и, вложив в нее какой-то небольшой, тяжелый и про-

⁹ *Папюс* Ж. А. В. А. (1865–1916) – французский оккультист, каббалист, маг.

¹⁰ *Штэйнер* Р. Ж. Л. (1861–1925) – австрийский философ-эзотерик, основатель антропософии – религиозно-мистического учения о божественной сущности человека.

хладный предмет, с силой сжала Женины пальцы.

– Это – мне?

– Да. Если не выронишь раньше, чем отдашь.

Серым, почти серебряным был цвет этих глаз на темном лице.

– C'est tout¹¹. – Незнакомец поднялся.

– Пойдите! – Голос Жени стал умоляющим. – Вы не можете уйти, не сказав мне, кто вы.

По губам собеседника скользнула неожиданная улыбка.

– Именно это я и намереваюсь сделать.

Женя не смотрел вслед уходящему незнакомцу, зная, что одного взгляда будет довольно – и никакая сила не сможет помешать ему сорваться и помчаться за ним. Он долго сидел на скамейке, глядя прямо перед собой на копошащихся в траве воробьев... И было странно, что солнце так же бьет сквозь листву, что птицы клюют как всегда щедро накиданный детьми хлеб... Томик Ницше по-прежнему – как полчаса назад – лежал на коленях.

И тут Женя понял, что не помнит, напрочь не помнит лица своего недавнего собеседника.

Дон. Бой под хутором Елизаветинским по линии Вёшенская – Тихорецкая

– Ну что, Арсений? – Женя, приподнявшись на колено,

¹¹ Вот и всё (*фр.*).

выпрямился, перезаряжая винтовку.

– Еще сотня будет, Евгений Петрович! – с веселой лихостью прокричал вестовой и, рванув повод, развернулся на скаку в сторону установленного на холме поста.

– Опустить прицел на сто! – резко крикнул Женя и всем натянувшимся телом почувствовал, как приказ прошелся невидимой плетью по лежащей цепи.

«Если пройдут еще сотню, штыковой и крышка.
Почему не подходит пехота?»

Визг разорвавшейся шрапнели полоснул в двадцати шагах по пожухлой горячей траве. Лежавший в нескольких шагах вольноопределяющийся отложил винтовку и обернулся к Жене.

– Ну и лупят! Похоже, дело к штыкам?

– Похоже, дело дрянь. Герасимов! Посты из рожи не подтянулись?

– Никак нет, ваше благородие!

– Ах, твою... Если пойдут в штыковой, что я выставлю без пехоты? Пол-эскадрона? Это даже не смешно.

– А что тут можно сделать?

– Уйти от штыков и загнуть фланг. Атакой. – Женя напряженно прислушался. – Неужели тяжелые пошли? Это не на нас, дальше, по окопам.

– Ваше благородие! Дальше не лезут!

– И то ладно... – Мучительно захотелось встать во весь рост, увидеть хоть что-нибудь, кроме травы перед глазами

и нескольких лежащих рядом людей. Женя в который раз позавидовал Арсению, галопом снующему под шрапнелью между постом и цепью.

– Не знают, что нас так мало?

– Дело не в этом! – Евгений усмехнулся. – Зачем им лезть под собственный артобстрел? Как ни смешно, но он-то и спасает нас от штыкового боя.

– Ваше благородие! Посты из рожи не подтягиваются!

– З-зараза!..

– Чем заняты, г-н подпоручик? – Подбежавший сзади Сережа плюхнулся рядом с братом с каникулярной беспечностью мальчишки, которому захотелось поваляться на траве.

– Сережа! Ты откуда?

– Привозил приказ рядом – решил завернуть. Я же знаю план наступления. Брось винтовку, давай лучше перекурим. Я тебя битый час ищу.

– Ладно, перебежим в ложбинку, видишь – справа?

– Ага!

Наполовину заросший кустарником овражек, на который показал Евгений, находился шагах в пятнадцати от цепи в сторону противника.

– Ну вот, тут хоть выпрямиться можно. – Евгений, тяжело дыша, прислонился спиной к склону овражка.

– Жарко... – Сережа с неудовольствием скользнул взглядом по своим побелевшим от пыли сапогам и щелкнул портсигаром.

– Нет, кури, я не буду.

Евгений отвинтил крышку плоской фляжки; сделав несколько глотков, вылил немного воды на ладонь и, улыbnувшись, плеснул себе в лицо. Загорелый, с пыльными выгоревшими волосами, со стекающими по лицу каплями воды, тяжело дышавший, он показался Сереже моложе и внутренне спокойнее, увереннее прежнего московского Жени.

– Странно, Сережа, ты жадно затягиваешься. У тебя наркотическая натура – раньше этого фамильного свойства в тебе не было так заметно. Видно, ты его очень глубоко загнал и, даст Бог, не выпустишь. Ладно, в сторону. Черт, ну и кроют!

– Кстати, об обстреле – тебе не надоело изображать мишень в детском тире?

– В роще стрельба. Посты не подтягиваются, похоже, сняты. Не могу же я поднять цепь, не зная, что там.

– А разъезд вперед?

– Некому вести. Как на грех, одни вольнопёры. Баклажки... Ни одного офицера.

– Женя...

– Честно: ты водил когда-нибудь разъезд?

– Нет. Но участвовал в пяти.

Голос Сережи прозвучал сдавленно: Женя, словно в себе, ощутил в нем знакомую внутреннюю дрожь готовых натянуться для стремительного действия нервов.

– Дам девять человек. – Почувствовав новый прилив разрядившейся было в утомительной перестрелке энергии, Ев-

гений вскочил на ноги и выпрямился. Он увидел примятую брошенными в кукольно-неживых позах телами траву в стелющейся до холмов степи, испещренной нежно-белыми папиросными облачками рвущейся шрапнели, и пронизанную солнцем березовую рощу. – Коноводы ближе к окопам – левее.

– Я знаю, у меня там Алебастр.

– Иванов, Павленко, Розенберг, Рождественский, Прянишников, Пономарев, Мельник...

Евгений видел, как они с веселой быстротой вскакивали с земли, и снова вспоминал вечную солдатскую истину: страшно не в бою, а перед боем... Шестнадцатилетний Алеша фон Розенберг вытянулся, рисуясь, под пулями. А вчера весь вечер кусал губы, строчил письма на полевой сумке...

– В разъезд через рощу – под командованием прапорщика! Выступать!

– Есть выступать, г-н подпоручик! – Сережина рука взлетела к фуражке. – К конному строю марш!

Гнетущую неподвижность цепи на несколько мгновений разрядило празднично-торопливое мельтешение поспешных сборов: мелькание оживленных лиц, сбивчивый топот сапог... Пристегивающий на бегу шашку Андрей Павленко... Наклоняясь, торопливо обменивающийся несколькими фразами с неназначенным приятелем Саша Прянишников... Вприпрыжку несущийся Сережа...



Чего и можно было ожидать – за полуминутные сборы ружейный огонь сгустился там, где вскакивали и бегали. Но по непостижимым законам военной магии никого не задело даже слегка, хотя в спешке все десять человек носились не пригибаясь. Евгений заранее знал, что так и будет.

Все это напоминало подвижную шумную игру, особенно когда участники разезда, словно наперегонки, помчались по степи к лошадям.

Свист пуль убыстрился: красные переходили на частый огонь.

Продолжая стрелять, Евгений обернулся на стук копыт: развернутый лавой разезд карьером летел по степи к роще, поперек сёдел неподвижно лежали заряженные винтовки. Было видно, как разезд, переходя на собранный галоп, входил в рощу. Евгений вытащил часы: если стрельбы не будет, через двадцать минут он снова кинет команду к конному строю – и оживет, как расколдованная, забегает под обстрелом уже вся цепь...

«Наркотическая натура... А разве нет? С каким лицом он понесся сейчас в разезд... Отданность минуте, полная, без остатка, растворенность души в действии – что это, если не чувственное восприятие жизни... Господи, как же он похож на меня – и как ослепительно непохож».

...В первое мгновение Сереже показалось, что Алебастр

споткнулся, но, уже вылетая из седла, скользнувшем вверх по конскому боку шенкелем он ощутил пронизавшую круп быструю судорогу. Отлетевшая шагов на пятнадцать винтовка валялась на земле.

2

– Скажите, прапорщик, – у Вишневого сам собой вырвался наконец вопрос, который, он знал это, мучительно хотел, но ни за что не задал бы Юрий, – вы не родственник Жене Ржевскому?

– Женя Ржевский – мой брат, – вскинув голову, с живостью ответил Сережа. – Вы знакомы с ним, господа?

– Да... по Петербургу. Немного, – ответил столкнувшийся взглядом с Некрасовым Вадим и встал, чтобы подкинуть дров в печку.

1917 год. Петроград

– Воля твоя, Лена, но принять всерьез этого, как ты изволила выразиться, «расторжения нашей помолвки» я не могу. Это несерьезно до смешного. Поверь, мне хорошо знаком объект твоей неоромантической страсти... Женя Ржевский – обаятельный испорченный мальчик, очень неуравновешенный и неспособный отвечать даже за свои поступки, не говоря уж об ответственности за другого человека. Мужчина должен быть опорой, Лена, особенно если речь идет о таком неискушенном и не знающем жизни существе, как ты. Женя Ржевский не опора и не мужчина – он просто развращенный мальчишка. При желании я мог бы познакомить тебя с неко-

торыми весьма милыми его привычками, но я предпочитаю воздержаться. К тому же при твоём не вполне трезвом нынешнем взгляде на него, все это, пожалуй, только придаст дополнительный блеск его героическому ореолу. Ты даже не способна дать себе отчет в том, что соединение ваших судеб повлечет за собой ряд проблем несколько иного качества, чем те, которыми задавался у себя в Йене Шеллинг¹². Пойми, Лена, – ироническая интонация пропала, Юрий, меривший шагами комнату, заговорил доверительно и мягко: – я знаю тебя с детских лет – ты и сейчас еще прежде всего незрелый человек. Подрастающим детям свойственно играть во взрослых, и ты придумываешь себе роковую страсть. Это не любовь, а одна глупость, которую ты вбила себе в голову, такая же игра, как твоё несносное ношение этих черно-желтых тряпок, так называемой расцветки твоего клана... Все это несерьезно, Лена.

– Несерьезно? В таком случае мне придется сообщить тебе кое-что еще. Со вчерашнего дня я его жена перед Богом. Это – серьезно, Юрий?

– Ты – любовница этого порочного щенка?!

Удар был слишком неожиданным. Лена Ронстон, неподвижно сидевшая у окна, казалась безразлично-спокойной, только ее пальцы нервно теребили бахрому наброшенного на плечи шотландского пледа в черно-желтую клетку клана

¹² Шеллинг Ф. В. Й. фон (1775–1854) – немецкий философ, представитель классического идеализма.

Беркли.

– Если тебе больше нравится называть это так – да. Теперь ты свободно можешь оставить меня.

– Нет, Лена. Как раз теперь-то я никак не могу тебя оставить. Я очень виноват перед тобой, кругом виноват. Я преступно потакал тебе, вместо того чтобы пресечь все это, хотя бы и против твоей воли. Теперь уже поздно – ты сама распорядилась своей судьбой. Но то, как ты ею распорядилась, вызывает у меня слишком большую тревогу, чтобы я мог тебя оставить.

– Как хочешь.

Вадим не знал об этом разговоре, но о том, что нечто подобное имело место, догадался после того, как на Брюсовской читке¹³, в обычной перед началом толчее в буфетной, услышал невольно обрывок чужой болтовни.

– Так Ржевский не будет сегодня у Приказчика?

«Приказчик» было как раз Женей пущенное прозвище Брюсова.

– Нет. Ржевскому не до «эмалевых стен»¹⁴. . . У него сейчас бурный роман с маленькой Нелли Ронстон.

Говоривший студент не был знаком Вишневному в отличие от его собеседницы – светлокудрой хорошенькой поэтес-

¹³ Публичное чтение стихов было модным в описываемые времена.

¹⁴ Фрагмент известного стихотворения В. Я. Брюсова (1873–1924) «Творчество» (1895): «Словно лопасти латаний На эмалевой стене».

сы Лины Спесивцевой.

– У Ржевского – с Нелли Ронстон? – Третьего собеседника, длинноволосого, с черным бархатным бантом и помятым лицом, Вадим также не знал. – Вот это новость! Но у нее же вроде имеется какой-то там жених...

– Некрасов, ты его видел, Ник. Это такой военный, вечно весь затянутый, как рука в лайковую перчатку, красив, как античная статуя, и примерно столь же общителен. Этакая ходячая помесь армейского устава с кодексом чести. Из гвардии, кажется.

– Теперь вспомнил – он почти повсюду таскается с Ронстон, хотя придерживается при этом демонстративно отчужденного виду. Решительный такой господин. Не завидую нашему милому Женечке: он рискует как-нибудь с утра пораньше обнаружить эдакий «приятный, благородный короткий вызов иль *картель*» в почтовом ящике.

– Не знаю, каким монстром надо быть, чтобы поднять оружие на Ржевского! Женя не человек, а изумительно завершенная коллекция модных пороков, но сколько в нем обаяния!

– Вы пристрастны к нему, как все женщины, Лина, даже ваш острый язычок не помогает это скрыть...

Слушать дальше Вишневский не стал.

Имена знаменовали миры, имена были ключами миров.

Был мир Елены и Евгения – рыцарский, мистический, прекрасно-мрачный, причудливо сплетенный из образов

Мэлори¹⁵ и Бердслея¹⁶, Новалиса¹⁷ и де Троя¹⁸, сладкого Лангедока и химер Notre-Dame – ночной мир служения Прекрасной Даме...

Был мир Елечки и Енечки – двух маленьких детей, сбегавших из дому на поиски Синей птицы – гофмановский, уайльдовский, меттерлинковский мир... Но Синяя птица не оказывалась в нем домашним скворцом, нет, не оказывалась!

Был, наконец, мир Нелли и Жени – мир Петербурга (нового названия города не любили), салонов, выставок, читок, сырой чердачной комнаты, но этот мир был ничуть не более реален и не менее прекрасен, чем остальные миры... В этом, только в этом мире и находилось место для Юрия, Вадима и всего остального Петербурга.

Миры сменялись, но неизменным оставалось одно – их двуединство.

Волшебно меняющиеся миры могли возникать только из неизменного бинара – двух душ, слитых навеки... навеки... навеки...

Песочные часы, движение песка в которых неизменно

¹⁵ *Мэлори* Т. (1405–1471) – английский писатель, автор «Книги о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола».

¹⁶ *Бёрдслей* О. В. (1872–1898) английский художник и денди, представитель школы модерна, иллюстратор Мэлори.

¹⁷ *Новалис* (псевд., наст. имя Фридрих фон Гарденберг, барон; 1772–1801) – немецкий философ-мистик, один из йенских романтиков.

¹⁸ *Де Трой* (Кретьён де Труа; 1130–1191) – первый и самый известный французский романист Средневековья.

должно прекратиться? Нет, не совсем то... Скорее, незаметные глазу зёрна терниев, посеянные в розовом саду... Невидимые зерна, которые непременно должны взойти и заглушить пышное цветение.

Такие сравнения нередко приходили в голову Вадиму, когда он встречал всегда вместе появляющихся в обществе Елену и Женю – счастливых, сияющих, бездумных, перебрасывающихся между собой фразами своего, непонятного для других, языка ассоциаций и намеков, жадно ловящих взгляды и слова друг друга, радостно угадывающих мысли...

Зерна терниев... Нетрудно было понять природу этих зернышек.

1915 год. Петроград

Картина Ренуара, изображающая девушку на качелях, всегда имела для Юрия особое, мучительно-сладкое значение.

Летом 1915 года, провалявшись после контузии два месяца в лазарете, Некрасов, получивший месяц отпуска, вернулся в Петроград.

Почти сразу по приезде, с наслаждением приняв ванну и приведя себя в порядок в своей небольшой, но комфортабельно обставленной квартире на Шпалерной, он поспешил на дачу к Ронстонам, обыкновенно проводившим там июнь...

Стоял солнечно-прохладный летний день. густая листва старых деревьев, за которыми прятались небольшие, по большей части старые и давно не крашенные дачи с резными балкончиками вторых этажей и увитыми плющом беседками с плетеной садовой мебелью, бросала на бело-пыльную дорогу, по которой шел Юрий, зыбкую, колеблющуюся игру светотени... Поселок как будто вымер, погрузившись в летнюю тишину. Казалось невероятным и неестественным, что идет война. Или нет, скорее, наоборот, казалось невероятным, что может так вот существовать этот поселок с уютно запущенными теннисными кортами и плетеной мебелью в увитых плющом беседках... Война была намного реальнее этого невероятно тихого уголка.

Идти пешком было приятно. Юрий подходил уже к знакомой даче. Вот каменные беленые столбы ворот с чугунной решеткой, красная дорожка аллеи, ведущей к небольшому белеющему из-за деревьев дому...

Но еще одно белое пятно, оживляющее черно-зеленый старый сад, прежде всего бросилось в глаза Юрию. В глубине сада на высоко взлетающих качелях стояла тоненькая, с развевающимися по ветру темными волосами девушка в летнем белом платье.

По радостному толчку в сердце Юрий издалека узнал Лену. он подошел неожиданно для себя бесшумно, и, пока подходил, ему казалось, что это не он подходит, а все ближе и ближе на него надвигается ожившая ренуаровская картина:

та же игра лучей в темной листве, те же, по странному совпадению, темно-синие банты на белой кисее, взлет скрипящих качелей, радостное лицо Лены с закрытыми глазами – чтобы полностью отдаться ощущению полета... Лена не слышала шагов Юрия, а он боялся нарушить очарование ожившей картины.

– Юрий!!! – испуганно-радостно закричала Лена, спрыгивая с качелей – ладонями в его подставленные ладони. – Юрий... Господи, даже не предупредил! Ты надолго? Откуда? Как? Ой, у тебя погоны другие – ты кто?

– Штабс-капитан.

– Ты?! Уже?! Ужасно странно, ох, Юрий, белый крест! Ведь это Георгий, да?

– Да, Георгий третьей степени.

– За что, ты расскажешь, ведь расскажешь, да? Все расскажешь?

– Всё! – Юрий усмехнулся.

– А забавно, знаешь, ведь Юрий и Георгий – это одно и то же имя в Древней Руси... Ты не обращай внимания – я вздор болтаю! Ты ведь не писал даже нам – месяца три! Не стыдно?!

– Извини, Лена, не мог – был в госпитале.

– Ты – ранен?

– Да нет, пустяк... Засыпало немного землей от взрывной волны.

– Какой волной? Ну ладно, потом все расскажешь... Зна-

ешь, мы в синематографе видели... газы эти... ужас, да? Я очень за тебя боялась. И мама тоже. А ты маму видел?

– Нет еще.

– Ой, побежали же к ним! – Лена тянула уже Некрасова за руку к дорожке, ведущей к дому, но он, однако, не сдвинулся с места.

– Лена, погоди. – Юрий смотрел прямо в полудетское, так же, как все вокруг, включенное в игру светотени, немного неправильное лицо Лены, прямо в серые, сейчас кажущиеся темными глаза. – Я очень давно тебя не видел...

Белая доска качелей все еще покачивалась на веревках, и по ней скользили солнечные зайчики.

– Юрий... Скажи, ведь ты, вероятно, сейчас уже не такой, как был... Ты должен быть другой.

– Я не понимаю, о чем ты.

– Там – страшно?

– Разумеется, Лена. Война есть война, она по сути своей и грязна, и страшна. – Некрасов пожал плечами. – Но все же я не понял, о чем ты спрашиваешь.

– Так, ни о чем... – Они шли по темной боковой аллее. – Я слышала недавно про атаку кавалергардов. Юрий, я довольно много думала... Можно задать тебе один вопрос?

– Разумеется.

– Юрий, почему ты не кавалергард? Ведь ты очень легко мог бы, я думаю, добиться зачисления.

– Да, я полагаю, что это не было бы для меня очень слож-

ным, – снова пожав плечами, холодно ответил Некрасов.

– Но тогда – почему?

– Но, Лена, не всем же быть в кавалергардах. Кто-то должен служить и в кавалерии. Чем я лучше других?

Некрасов менее всего подозревал о том, какая бездна его гордыни разверзлась перед Леной в этих спокойно произнесенных словах, достаточно верных, как ему представлялось, но все же сказанных только для того, чтобы не вдаваться в дальнейшие объяснения.

Службу в обычной кавалерийской части в корпусе Эрдели Юрий предпочел не случайно. Напротив, он воплотил в этом выборе свое понимание дворянской чести, в котором самой высокой привилегией был добровольный отказ от по праву принадлежащего. Но говорить об этом казалось Юрию невозможным. Эту черту его характера, пожалуй, смог бы объяснить Лене Вишневский, рассказав об одном с юнкерских времен запомнившемся ему эпизоде. Это был спор, завязавшийся в свободный вечерний час за глинтвейном. Речь шла о дуэлях. Миша Яковлев, сосед Вишневского по дортуару, не без рисовки рискнул назвать поединок «средневековым предрассудком» и, не спеша прихлебывая горячий напиток, смаковал теперь одновременно с глинтвейном вызванную бурю.

«Мы – профессиональные солдаты, а не профессиональные гладиаторы!»

«Яковлев прав! Этот средневековый атавизм

противоречит духу армии. Дух армии – дисциплина и система, а дуэль – самость времени, когда война не знала системы и не решалась дисциплиной!»

«Нет, господа, все зависит от того, что нужнее: превращение ли армии в смазанную машину, к чему, кажется, все и идет, или упование на какие-то нравственные каркасы, как было от века и до сих пор не отменено...»

«А если второе, то необходимо признать, что дуэли дисциплинируют армию. В противном случае честь из конкретной и весомой категории превращается в слишком эфемерное понятие».

«Некрасов, а что ты думаешь?»

Этот вопрос князя Лыкова, одного из младших в компании, заставил всех обернуться к Юрию, сидевшему поодаль, – за весь разговор тот не произнес ни единого слова. Между тем слово Юрия, способного кого угодно не пьянея перепить и вытворявшего настоящие чудеса в манеже, обыкновенно было в спорах самым веским.

«Я думаю, Лыков, – Некрасов обвел холодным взглядом обратившиеся к нему лица и демонстративно неспешно отхлебнул из своей чашки, – что честь – это не опера».

Фраза вошла в поговорку. «Честь не опера» – бросалось в лицо заводящему разговор о высоких понятиях новичку. С легкой руки Юрия, невольного законодателя правил хорошего тона, разговаривать считалось приличным, помимо упомянутой «оперы», о лошадях и выставках. Но только один

человек не чувствовал себя стесненным в этом жестком искусственном футляре – сам Некрасов.

Даже услышав собственные, на самом деле, почти угаданные Леной мысли о привилегии отказа, Юрий искренне не узнал бы их. Он смог бы только с неудовольствием ответить: «Ты усложняешь», или: «У тебя слишком романтическое обо мне представление». Вызвавшие у него легкую досаду Ленины вопросы Юрий тут же забыл: они не имели никакого отношения к Лене, к зеленовато-солнечному сумраку сада, к милой болтовне об именах и Георгиевских крестах, ко всему, о чем так жадно вспоминалось потом на фронте.

1917 год. Петроград

Женя и Елена медленно шли по Мойке мимо тускло-серого в свете неяркого дня канала.

– Погоди, Нелли. – Женя вытащил портсигар. – Не люблю курить на ходу.

– Ты много куришь.

– Ерунда! Погода мерзкая – серо. Давит как свинец. Я бы, будь петербуржцем, давно повесился... Это сатанинское отродье нарочно место выбрал – с ума сводить... Причем с расчетом – двести лет как подход, а детище стоит... и сводит, сводит... – Женя зло затанулся, глядя не на Елену, а в серую рябь канала.

– Ты говорил, Гумми стрелялся с Волошиным...

– Калошиным! Не дуэль, а пародия. Его потом так и прозвали – Вакс Калошин: калошу потерял в сугробе... Ну, Гумми-то, конечно, был неплох – смокинг, шуба в снег... Требовал от Волошина повторного выстрела – там была осечка...

Как всегда, когда Женя говорил о Гумилёве, голос его звучал немного неестественно. Гумилёва, свое единственное божество с современного Парнаса, Женя обожал столь же жаростно, сколь и ненавидел. Тщательно скрывая это от многочисленных друзей, он не мог определить свое чувство сам, но был уверен в одном: кроме него, никто еще не постигает с такой отчетливостью всей космической гениальности Гумилёва.

Женю, неохотно соглашавшегося читать свои стихи даже близким друзьям, считали нетщеславным, и он стремился поддерживать это мнение о себе... Хотя это было неправдой: тщеславен Женя был, но как-то вывернуто тщеславен. Стихи казались ему областью слишком интимно-личной, чем-то глубоко внутренним, той святой святых, в которую не должен вступать непосвященный. Было время, когда Женя развлекался фантазиями о том, что поэзия могла бы быть изустным достоянием какого-нибудь тайного мистического ордена... Стремление к популярности, славе казалось Жене тщеславием примитивным. Было другое, тайное, внутреннее тщеславие сжигавшего его стремления к преодолению новых ступеней...

– Я не знаю, но мне кажется, что ты мог бы пойти к Гумми

с «Розовым садом».

Женя рывком обернулся к Елене:

– Ты хотя бы понимаешь, что ты сказала?

– Женя, ты что?

– Ничего! – Словно ударив Елену неожиданно ненавидящим взглядом, Женя, не оборачиваясь, почти побежал прочь.

Его не было три дня. С момента, когда они с Еленой расстались на Мойке, он не объявлялся даже у себя – как будто в воду канул... Елена, которой мерещилось самое плохое, была в таком ужасе, что не только Женины, общие их с Еленой друзья, но и Вадим, и даже Юрий обшаривали в городе все кабаки и морги...

Невыносимо мучительным казалось Некрасову в течение этих дней многократно появляться у Елены, каждый раз успевая ловить в ее глазах разочарование, что это его, а не Женины шаги прозвучали на лестнице.

Некрасов готов был убить Ржевского уже не только за то, что он отнял его счастье, но и за эти заплаканные, застывшие в выражении ожидания глаза на осунувшемся лице Лены, за то, что собственные его мрачные предсказания начинали сбываться так скоро.

Разумеется, ничего страшного с Женей не случилось. На третий день он объявился – бог весть откуда, очень похудевший, с измятым, усталым лицом... Конечно, наступило примирение, за которым с новой силой последовала идиллия –

более короткая на этот раз...

А затем все быстро, слишком быстро помчалось к тому концу, которого не мог предположить даже не ожидавший ничего хорошего Некрасов: здоровье Лены, и до того слабой легкими, ухудшалось вместе со стремительно расшатывающейся нервной системой. Роковую роль сыграло слишком поздно замеченное Юрием перенятое от Жени (впрочем, против его воли) увлечение кокаином...

– По Петербургу! Я очень мало знаю о Жениной петербургской жизни. Я последний раз встречался с братом на Дону. Да и то удивительно в этом водовороте... Вы ведь не встречались с ним, конечно, после Петербурга, г-н поручик? – взволнованно спросил Сережа.

– Нет, г-н прапорщик.

– А мне довелось один раз. – Юрий усмехнулся. – Тоже на Дону, незадолго до его смерти.

– Г-н штабс-капитан, – очень спокойно, спокойно настолько, что от этого невольно сделалось страшно, проговорил Сережа, – вы хотите сказать, что Женя погиб?

– Под Тихорецкой. Простите, прапорщик, я думал, что вам это известно.

– Теперь – да. А вы были правы, г-н штабс-капитан, рана все-таки чувствуется...

С этими словами Сережа подошел к столу и, взяв стакан, выпил самогон залпом, как воду.

1918 год. Дон. Бой под хутором Елизаветинским

– Кого там еще несет?

Приподнявшись над осыпающимся краем неглубокого

окопа¹⁹, Некрасов поднес к глазам бинокль – тут же его ослепил фонтан земляных брызг от взрыва тяжелого снаряда. Показалось, что комья летят прямо в лицо, и невольно захотелось прикрыть глаза рукой. Но в следующее мгновение уже стало видно, что два скачущих к позиции всадника неведимы. В восемь раз приблизившие их к Некрасову стекла скользнули сначала по молодому вестовому казачьего вида и невольно остановились на лице скачущего первым офицера. Лицо приблизилось, расплылось, заняв весь стеклянный круг, и, когда Некрасов опустил бинокль, несколько человек уже вылезали из окопа навстречу подскакавшему Евгению Ржевскому.

– Где пехота?! – танцую перед окопами на мокром гнедом ахалтекинце, выкрикнул Евгений.

– Пехота отошла с полчаса назад, подпоручик. – Телефонист устало отшвырнул моток проводов и промокнул осунувшееся лицо грязным платком. – В отличие от нас у нее был приказ перемещаться направо.

– А что у вас?

– Ничего. Телефонной связи нет, сидим как идиоты.

– Хорошо хоть тяжелая артиллерия прикрывает. – Поручик Ансаров, распоров пакет, начал заматывать бинтом задетую кисть левой руки. – Людей мало!

– С чего вы это взяли, поручик? Это не наша артиллерия,

¹⁹ В ходе Гражданской войны окопы были преимущественно неполной профили, за исключением тех, что остались от военных действий во время германской.

а их недолёты. Кто держит позицию?

– Позицию держу я. – Некрасов, шагнув по мешку с песком, наполовину вылез из укрытия и окинул Женю безразличным взглядом. – Вы уверены, что это их недолёты?

– Полностью, Юрий.

– Так их разэдак... Какой-то болван отводит пехоту, а мы торчим под обстрелом! Или этим идиотам в штабе кажется, что несколько цепей могут здесь атаковать без прикрытия? – Некрасов длинно выругался.

– У меня только что вышла телефонная связь – приказано погибать фланг конной атакой. – Евгений перекинулся быстрым выразительным взглядом с гарцующим поодаль вестовым.

– Вот как... Придется идти рощей. Там чисто?

– Нет, но, судя по всему, красных в ней немного. Я выслал разъезд: если верить стрельбе – он проскочил через противника и держится за ним.

– Понятно. Поднимайте своих, выстраиваемся по пути.

– Есть! – Евгений круто развернул коня и, сопровождаемый вестовым, понесся карьером. – К конному строю выходи!

Полоска окопов забурлила, как вышедшая из берегов речка. Через несколько минут, значительно быстрее, чем некадровые вольнопёры из Жениной цепи, полтора эскадрона кавалеристов уже было в седлах.

– Эскадрон, в атаку!

– Ур-р-ра!

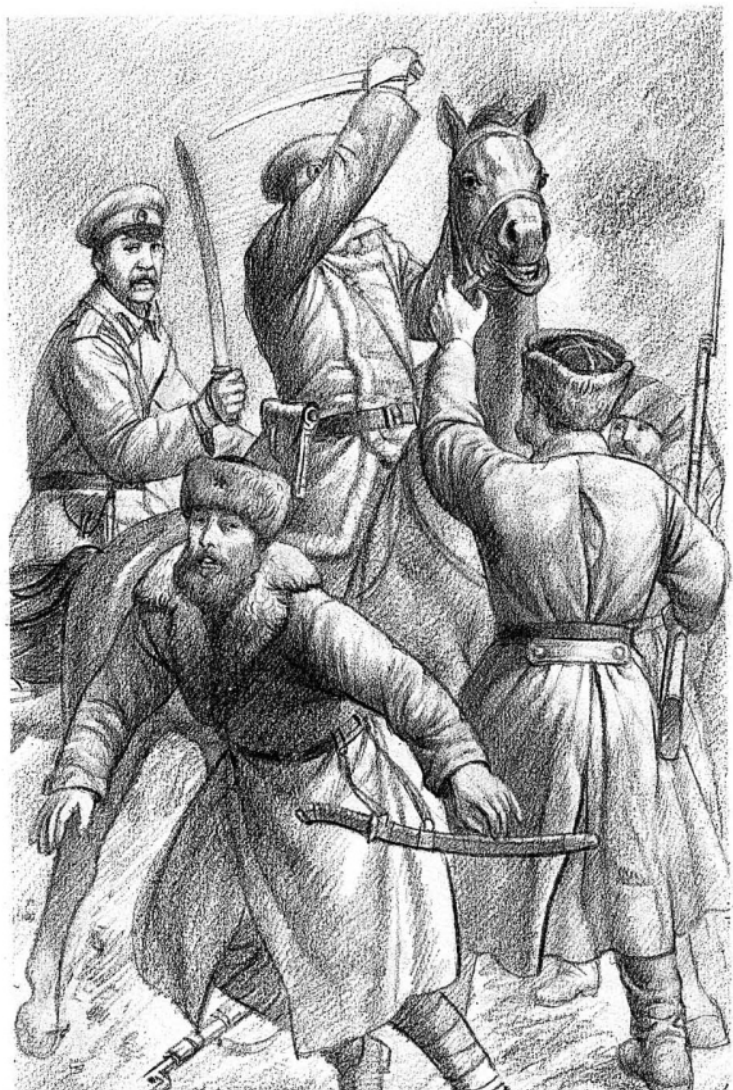
В то же мгновение как под копытами первых коней захрустела черная березовая ветошь, в роще заработал пулемет. Первая очередь прошла низко, по конским ногам – несколько одновременно полетевших с лошадей человек впереди Некрасова, вскочив и хватая винтовки, бросились вперед пешими. Опередив спешенных, Некрасов увидел, что пулеметчик взял выше: скакавший слева молодой граф Орлов дернулся и, запутавшись ногой в стремя, несколько шагов протащился головой по земле за испуганно захрапевшей лошастью.

Установленный на пригорке пулемет был уже виден за припавшими к винтовкам папахами только что окопавшейся охраны.

Луч зашедшего было в прозрачные облака солнца скользнул по золотым погонам офицера, вырвавшегося, остервенело посылая шпорами взмыленного коня, далеко вперед. Он, опередив лаву, с гранатой в руке мчался, выписывая зигзаги, прямо на тяжелый треск пулемета. Красноармеец, в спешке выскочивший из окопной ячейки, начал с лихорадочной торопливостью целиться, но не успел дать залп, снятый хладнокровно метким выстрелом Некрасова. Воздух разорвал грохот взметнувшегося на месте пулемета разрыва. В кинувшем гранату офицере Юрий узнал Женю.

Спотыкаясь о разметанное тело пулеметчика, несколько красноармейцев, не пригибаясь, метнулись смотреть, сильно

ли поврежден пулемет. Но это уже не имело значения. Бой переломился в той точке, которая превращает беззащитного под обстрелом кавалериста в вызывающую ужас беспощадную силу. Шашка Юрия полоснула наотмашь по лицу бородатого красноармейца, в растерянности выронившего винтовку. Другой, молодой, с соломенной бородкой и ярко-голубыми глазами, прежде чем бородатый упал, прикрываясь его оседающим телом, вывернулся, пытаясь схватить под уздцы лошадь Некрасова, а цыгановатый парень, бешено раздувая ноздри, замахнулся для штыкового удара. Опережая светловолосого, Некрасов жестким ударом шпор послал коня и, на лету зацепив его шашкой, помчался ко второй линии укреплений: через первую линию передовые в атаке проскакивают почти не вступая в бой... Первая линия – последним верховым.



– У-р-р-а-а!

Второй ряд наспех вырытых ячеек.

Третьи укрепления – край рощи – наперерез скачущие по степи всадники: контратака? Хаки... погоны... Свои? Откуда здесь свои? Немного – не больше десяти человек... меньше... Ах, ну да – тот разъезд.

– Г-н штабс-капитан! – Бледный от усталости вольноопределяющийся вскинул руку к задетой пулей фуражке. – Дальше противник оттягивается!

«Загнули», – подумал Некрасов, устало скользнув взглядом по Евгению, подъехавшему шагом.

– Ранены, Розенберг? – спросил Ржевский.

– Да, г-н подпоручик. Но я могу держаться в седле.

– Где командир разъезда?

– Убит, г-н подпоручик. Где-то в прорыве между первыми и вторыми укреплениями.

– Вот как? – Евгений усмехнулся какой-то мысли и знакомым лениво-безвольным жестом провел рукой по лицу.

– Бой переместился, – с неохотой произнес Некрасов, – фланга дальше уже нет, лезть атакой на стенку – глупо. Попробуем обогнуть с тылу: если будет возможность – ударим, нет – соединимся со своими.

– Вам виднее, Юрий. – Женина рука успокаивающе скользнула по шее коня. – Тем более что вам, вероятно, надлежит взять на себя командование моими людьми.

– Что?

– Можете считать, что я уже под полевым трибуналом. Приказа атаковать фланг не было. Приказ недвусмысленно гласил передвигаться к центру боя вслед за пехотой.

– Надеюсь, подпоручик, что, когда этот салонный розыгрыш пришел вам в голову, вы сообразили, что он пахнет расстрелом, – с расстановкой проговорил Некрасов, с ненавистью глядя на Женю. – И мои слова не являются для вас неприятным сюрпризом.

– Я не исключал этой вероятности, г-н штабс-капитан, – равнодушно ответил Евгений. – Впрочем, это не имеет значения. Вы полагаете, что я должен сдать командование сейчас?

– После боя.

4

– Ох уж эти мне долгоруковские замашки... – Тени от слабой коптилки скользили по безразличному мальчишескому лицу Сережи, на которое мельком взглянул Некрасов. – Простите, прапорщик, мое раздражение объясняется тем, что немало довелось из-за этого расхлебывать: хуже нет, когда некадровые лезут подражать кавалергардским геройствованиям... Ничего хорошего из этого, как правило, не выходит. В случае свашим братом – обернулось удачей, но по чистой случайности. Не помню, к сожалению, в каком это было бою – сами знаете, какое стремительное наступление разворачивалось от Вёшенской к Тихорецкой... Бой был очень длинным, чересчур длинным и, сместившись к хутору, завяз в одной из точек. Хутор был на двух холмах, превосходно простреливающиеся подступы; как сами можете представить, сомнительное удовольствие выбивать противника с такой позиции...

– Вы не помните названия хутора?

– К сожалению, нет.

– И что же? Это сомнительное удовольствие и досталось Жене?

– Именно. Пехота и около эскадрона кавалерии. Основная часть кавалерии была брошена дальше: хутор не давал выровнять наступление. Из штаба приказ за приказом: ско-

рее брать, а цепи лежат. За каждую пробежку проходят всё меньше. И вот вашему брату пришла в голову несколько отдающая самоубийством идея воодушевить цепи, подняв кавалеристов в психическую атаку. Командующий эскадронам поручик Тураев был за несколько минут до этого убит. Надо сказать, прошли как на параде, поднять цепи удалось, выбить красных удалось, все удалось – в том числе и самоубийство. Вашему брату многое удавалось – иногда, к сожалению, слишком многое.

– Вы что-то имеете в виду?

– Нет, пожалуй, ничего конкретного. Но надо отдать должное, этой удачной атакой ему удалось загладить одну свою ошибку, допущенную за несколько часов до этого.

– Какую?

– Мне не очень понятна эта история: он неизвестно с какой целью нарушил приказ.

«Неизвестно с какой... Такие, как Женька, проходят по жизни, вовлекая всех и вся в тянущуюся за ними спутанную цепь ошибок...» – с горьким отчаянием подумал Сережа.

...Некрасов не видел ту, долгоруковскую, атаку, но не мог отделаться от ощущения, что видел. В германскую, в Восточной Пруссии, он участвовал в двух подобных атаках, по законам военной магии без единой царапины выйдя из обеих. Они немногим отличались от нашумевшей атаки кавалергардов князя Долгорукова: половина из трех блестящих эскадронов легла в ней под германскими пулями.

«Дворянская» атака... Пеший строй... Мерная поступь рока в твоих шагах... Ты идешь один, чеканя шаг навстречу огню – без единого выстрела. Цепи развернуты так, что в одиночку идет каждый...

Левой... левой... левой... Сердце стучит в едином ритме с шагом цепей... Левой... левой... Папироска в небрежно отведенной руке... Смерть не страшна, потому что ты сам – смерть. Потому, что перед тобой побегут, не могут не побежать: нет ничего страшнее этой силы смерти, которую ты с гордо поднятой головой несешь навстречу пулям.

Блеск погонного золота... Блеск сверкающих сапог, чеканящих по пыльной траве парадный шаг... Презрительная складка небрежно cedящих французские ругательства губ... Непреклонность движения редяющих с каждым шагом цепей...

На котором шагу вдруг пропала усмешка с ненавистного, посвежевшего от степного воздуха, непривычно загорелого Женькиного лица?

Неожиданно возникший из прошлого – всего неделю назад – повзрослевший, как-то возмужавший и, главное, смеющийся быть не только живым, но даже не страдающим, не убитым раскаянием, как в последнюю встречу, спокойный, способный улыбаться своей сволочной обаятельной улыбкой, вызывавшей у Юрия неистовый прилив ненависти, Женья был теперь мертв.

Торжество? Облегчение? Нет! Юрий не мог и не очень

пытался понять, какие чувства вызвала в нем эта слишком достойная для Жени Ржевского – распущенного безвольного щенка, кокаиниста, жалкого эстетствующего мальчишки – смерть.

Лежа в пропахшей дымом темноте, подложив под голову руку и накрывшись полушубком, Сережа, сам не замечая этого, напряженно прислушивался к ноющей боли в ноге. Но боль была не настолько сильной, чтобы помешать, спутать бессонно четкое течение ночных мыслей...

«Но даже если бы я знал, что вижу Женю в последний раз, я не смог бы впитывать его присутствие с большей жадностью, чем в ту встречу. Потому что последний раз я видел Женю именно тогда не в горячке боя, а за два дня до этого, еще в Вёшенской... Те сутки, которые мы провели вместе, и были последней встречей, последним разом... Нет, не сутки, меньше. Я приехал с приказом в полдень, а уехал где-то около семи утра. Самые важные разговоры всегда ведутся ночью... Как глупо: именно в этот вечер мне изменила бессонница.

– Сережа, а у тебя глаза слипаются.

– Не обращай внимания, Женя. Спать я действительно очень хочу, но мы же как-никак не виделись почти год, а утром я уеду... Ты говорил о символе розы у Гафиза. При чем тут суфизм?

– Суфизм – „цветок“ ислама, его высшее развитие. Три символа – из газели в газель: женщина-возлюбленная, вино и роза. Символы переплетаются: странствие суфия проходит через полноту реальной жизни... Через ее краски... Сережа, ложись, ты сейчас

успешь прямо за столом.

Голова моя и в самом деле едва не падала на стол. Тяжелая-претяжелая голова... Я еще разговаривал, но уже спал... И, окончательно засыпая на ходу, добрёл до кровати и плюхнулся на нее одетым. И уже совсем сквозь сон почувствовал, как Женя сам стягивал с меня сапоги, приподнимал рукой за плечи, чтобы сунуть под голову подушку... Давно не испытанное ощущение покоя, бесконечного блаженного покоя, исходящее от прикосновения родных заботливых рук. Но где-то в моем сознании в это время так и висели последние слова о суфизме Гафиза. Было всего-навсего начало двенадцатого.

А через некоторое время я проснулся. Раскрашенные жестяные ходики на стене показывали час... Женина постель была нетронутой.

Спать больше не хотелось совсем, напротив, я чувствовал прилив такой бодрости, что не мог больше оставаться в хате. Это было ночное влечение к открытому пространству, к бесшумному скольжению среди запахов трав – волчье, более древнее, чем человеческое, стремление к ночной жизни, делающее невыносимым и противоестественным пребывание в пространстве замкнутом... Я нашарил в темноте одежду и, проверив в кармане портсигар, вышел на крыльцо.

Ночь была прохладной. Вся станица, раскинувшаяся под безлунно-черным, усыпанным звездами небом, спала. Негромкий звук моих шагов, казалось,

разносился очень далеко, потому что был единственным звуком в ее ночном молчании... И тут я увидел Женю.

Он стоял, облокотившись обеими руками на белеющее в темноте длинное бревно коновязи и запрокинув голову в небо. Я подошел к нему, на ходу раскуривая папироску.

– Проснулся? А я смотрю на созвездие Фаркад.

– Фаркад?

– Видишь – две яркие звезды рядом – в Малой Медведице?

– Вижу.

– Это – созвездие Фаркад.

В царстве юности изыскан был узор,
Но не вечно тот наряд ласкает взор.
О беда, беда, иссяк благой родник,
Жизнь даривший розам сада до сих пор!
Ты уйдешь и от друзей, и от родных,
Что под небом грусть твоя и твой укор?
Смерть придет, и растается с братом брат,
Кроме братьев-звезд сверкающих Фаркад.

– Чей это перевод?

– Мой.

Я курил, сидя на коновязи, а Женя по-прежнему стоял в той позе, в какой я его увидел.

– Он довольно плох, но мне начинает казаться, что восточные стихи как таковые теряют свою суть на европейских языках... Не знаю. Хочешь моих стихов?

– Да, очень.

Женя это предложил в первый раз. Он читал долго... Он читал о чужом для меня, таком чужом Востоке... Это была поэма „Розовый сад“, странная, навеянная зловещими сурами Корана... Это был мир мчащихся в ночи боевых верблюдов, мир безбрежных песчаных морей, мир гурий и роз в причудливых грезах хашшашинов²⁰...

Он читал, как будто заклинал стихами ночь. Он читал, а я слушал и смотрел в его обращенное к небу лицо, как белая маска выступающее из темноты. И это лицо было утонченно восточным, персидским или иранским, с этим мягким бархатом черных в темноте глаз, надменным разлетом бровей, волнами волос, кажущимися в ночи черными, изысканным сочетанием тонкой линии носа с трепещуще нервными, породистыми ноздрями и чувственным вырезом пухлых губ... Это было лицо Сохраба, молодого иранского царя, бесстрашного воина и любовника огненных пери... Это был Женя.

– Свежо становится: сейчас часа три. Знаешь, ты все-таки иди спать.

– А ты?

– Мне рано не ехать. Постою еще здесь.

– Не хочется, но ты прав. Тогда я тебя утром не бужу.

²⁰ *Хашшашины* (ассасины) – наркоманы-смертники, убивавшие по приказу легендарного Старца Горы – Хасана ибн-Саббаха, посланца Аллаха на земле, глашатая его священной воли (XI–XII вв.). Фактически – первые исламские террористы.

Я ведь теперь знаю, что ты тут, постараюсь заскочить на днях... А так, во всяком случае, будем вместе в Царицыне. Покойной ночи, Женя!

– Покойной ночи, Сережа... – и ты неожиданно, с каким-то непонятным ускользящим выражением взглянув мне в лицо, притянул меня за плечи и странно поцеловал два раза – в глаза, даже не поцеловал, а легко коснулся глаз какими-то не по-мужски нежными губами... – Покойной ночи, Сережа, маленький мой...

Я действительно не стал будить тебя утром: твоему вестовому удалось растолкать меня разве только без пушечной пальбы над ухом... Я не выспался и был зол как черт, к тому же в последний момент выяснилось, что стремя держится на соплях. Пришлось с полчаса ждать, пока Арсений найдет и наладит новый ремень. Я опаздывал, Алебастр был не в духе...

Так я и уехал.

Это было за два дня до моей смерти, как я потом узнал. Как же его звали, того, из разъезда? Мы встретились месяца через два. Он еще сказал, что после боя за меня свечку поставил. Я – „отпетый“. Я еще тревожился, как бы до Женьки не дошло, но потом решил, с какой стати? Никто же не знал, что я его брат, а бои шли еще те...

Убили меня, а убит был Женя.

„Незадолго до его смерти“.

В первое мгновение захотелось кричать. Тогда я и выпил самогон. Потом удалось довольно быстро взять себя в руки. А не слишком ли быстро, г-н прапорщик?

Со встречи с Женей, с этой, с последней, прошло меньше года. Семь месяцев. А за эти семь месяцев прошло десять лет. И со мной кое-что случилось за это время, хоть и не сразу заметил... Боль души, на самом деле такая же реально ощутимая, как боль какой угодно другой части тебя, – как-то перестала особенно доносить... На душе появилась какая-то прозрачная защитная оболочка... Ощущение неприятной сдавленности этой оболочкой – тревожное, но к нему привыкаешь. Зато от нее отскакивает все, что грозит проникнуть внутрь. Сквозь этот прозрачный каучук видно, что случилась еще одна беда, но отрешенно как-то видно...

Мне больно, что Жени больше нет. Очень больно. Но все-таки не так, как было бы с год назад... Далеко не так.

Слишком многое произошло с тех пор... И половины произошедшего хватило бы на то, чтобы убить меня прежнего.

Ах да, меня прежнего тоже убили. Как будто только что: я лечу из седла убитого Алебастра, поднимаюсь с осыпанной березовой ветошью травы... Винтовка, валяющаяся в десяти шагах... И без тени страха – просто какая-то очень большая мысль: „Это – конец...“ Несколько нацеленных на меня винтовок... Необычная яркость красок, какая-то странная запоминаемость каждой мелочи: крапивницы над метелкой травы... Как все это врезается навек в память, когда понимаешь, что последние доли секунды смотришь и видишь...

Две дырки в легком. Снизу. „Дешево отделались,

молодой человек...“ – это уже в полевом лазарете. Если бы наши не взяли этот хутор Елизаветинский, ох и лежать бы мне там полеживать, покуда птички не склевали. Но, так или иначе, а убит я был и потому что „отпет“, и потому что знаю ощущение конца... Настолько странно было через сутки, очнувшись, снова почувствовать себя на этом свете, что я даже не очень удивился, узнав случайно о том, что в этом же самом лазарете эдак за неделю до моего появления умер Вадик Белоземельцев...

Вадик Белоземельцев умер в той же самой палате полевого госпиталя... На том же одре, быть может.

За эти больше чем полгода так и не стало известно, живы ли папа и мама...

Жени больше нет.

Но для меня теперешнего все это, увы, не смертельно.

В первый раз я ощутил это, когда мы шли из Финляндии... Утро, серый снежный день, серая снежная степь без конца, серое небо без краю... За спиной случайный ночлег, который ты оставляешь навсегда... А где-то далеко уже не существует твоего дома... Твои корни вырваны... Ты – щепка, плывущая в водовороте, маленькая частичка Великого Кочевья... Не человек, а именно частичка, безвольно попавшая в движение водоворота... И твой утраченный дом не важен, потому что утрачен не только твой дом; и не важна разорванность связи с призрачно существующими мамой и отцом, потому что все связи

вокруг тебя разорваны, и не важен твой путь, потому что он независим от тебя...

Мы с Женькой Чернецким оба знали тогда, что чувствуем одно и то же. И что нас, независимо от нашей воли, скоро разведет в стороны... Мы только успели тогда понять, что нашли друг друга.

Женька... Как много значит в моей жизни это имя!.. Но если в прекрасно чужом мире моего брата я мог бы и хотел бы быть только гостем, то Женька Чернецкой... Ладно, о таком молчат даже в мыслях.

А возможно ли разорвать эту прозрачную каучуковую оболочку? Если по-настоящему осознать, что Женя погиб, что Вадик умер, что очень хочется положить голову на колени маме... Что нет больше московской квартиры...

Но вы этого не сделаете, г-н прапорщик... А может быть, вам только кажется, что вы можете это сделать?»

6

– А скажите, г-н штабс-капитан... – обратился Сережа к Некрасову. За ночь его изрядно полихорадило, об этом говорила темная корка на растрескавшихся губах. – Мне, собственно, еще вчера хотелось вас спросить... Вам ничего не говорит такое имя – Елена Ронстон?

«Вот бомба, наконец, и разорвалась», – подумал Вадим. Сережин вопрос прозвучал очень неожиданно – до этого речь шла о том, как долго имеет смысл пережить в сторожке. Юрий, как показалось Вадиму, не изменился в лице.

– А с чем для вас связано это имя, г-н прапорщик? – ответил он вопросом, и голос его, к удивлению Вишневого, прозвучал почти мягко.

Средь благовонной тишины
В ночи склоняю я колена,
Мои уста обожжены
Заветным именем «Елена».
Я пью. В священном кубке дно
Звездой мерцает сокровенной,
Есть двуединое одно:
Я – рыцарь ночи и Елены.
Жизнь, душу, кровь мою за меч,
Летящий молнией надменной,
За меч, что в силах влёт рассечь

Все пути лунные Елены.
Все сроки нам предрешены,
И жизнь отвечающая нетленна,
Мои уста освежены
Волшебным именем «Елена», —

негромко процитировал Сережа.

– Как это называется?

– «Ноктиурн к Елене». Собственно, это только наброски к нему. Женя хотел закончить, но я не знаю, закончил ли... Это посвящается Елене Ронстон – больше мне это имя ничего не говорит. Так вы знали ее, г-н штабс-капитан?

– Не то чтобы знал, но знаком я с ней был, г-н прапорщик.

– Ну да, конечно же были, – улыбнулся Сережа, – ведь вы же знали Женю по Петербургу! Красивое имя... Женя вообще придавал очень большое значение именам. «Имена сольются в вензеле двойном...» – это тоже из стихотворений к Елене Ронстон.

– Тонкая натура, – задумчиво произнес Юрий. – Слишком тонкая. А где тонко, там и рвется. – И, посмотрев на собеседника сквозь стакан, он залпом выпил его содержимое.

– Вы говорите о Елене Ронстон?

– Именно, молодой человек.

– Г-н штабс-капитан! – Побледневший Сережа медленно поднялся за столом. – Эту женщину любил Женя.

– И вы, безусловно, полагаете, г-н прапорщик, – Юрий так же медленно поднялся напротив Сережи, – что это поднима-

ет ее на недосыгаемую высоту?

– Господа, господа! Юрий!

– Г-н штабс-капитан, смею заметить, что не могу воспринять ваши слова иначе, как вызов.

– Когда вам угодно?

– Немедля.

– Я к вашим услугам. Ах, черт! Я не могу стреляться с раненым.

– Какая трогательная щепетильность, г-н штабс-капитан, – подхватывая тот пренебрежительно-иронический тон, которым только что развязал ссору Некрасов, усмехнулся Сережа. – Не усугубляется ли она чем-нибудь еще? Отмерить десяток шагов я, с вашего позволения, могу и прихрамывая, а если мне будет трудно стоять, я стану стрелять с колена.

– Вы много себе позволили, милый юноша, от дальнейшей щепетильности это меня освобождает. Г-ну Вишневскому придется быть нашим общим секундантом – не вполне по правилам, но ничего не поделаешь.

– Благоволите договориться с г-ном поручиком об условиях, чтобы он мог сообщить их через десять минут мне. – Сережа, хлопнув дверью, вышел на крыльцо.

– Ты сошел с ума, Юрий! – Столкнувшись взглядом со спокойно-светлыми глазами Некрасова, Вишневский невольно содрогнулся. – Оставь мертвых в покое. Перед тобой ребенок, мальчишка, который ни в чем не виновен.

Неужели твоя совесть позволит эту дуэль?

– А ведь он... похож. Даже не знаю, чем он так похож на того... Внутренне похож. Не мешайся мне, слышишь? Передо мной снова Ржевский, но на этот раз я могу его убить.

Снег весело скрипел под ногами отмерявшего расстояние Вадима.

– Три... пять... восемь... десять...

Как в продолжительном нелепом сне Вадим скользил взглядом по радостно синему небу, могучим стволам елей, опустивших ветви под тяжестью снега, по белому щегольскому полушубку Сережи...

Юрий стоял у припавшего к земле ствола раздвоенной старой березы. Его спокойная поза словно подтверждала уже и без того ясную Вадиму предрешенность поединка.

«Мальчишка, к тому же – некадровый... Ну как он может стрелять? От силы – неплохо. А Юрий бьет в туза на подброшенной карте. К тому же Сережа кипит, а Юрий – хладнокровен. И сейчас произойдет хладнокровное убийство...»

Вадиму невольно вспомнились юнкерские годы в Николаевском училище: вот так же, протестуя внутренне, но не смея восстать, Вадим присоединялся к очередной жесткой проказе, затеянной Юрием, с ощущением какой-то неприятной скользкой тяжести внутри... С позабытой детской остротой он ощущал сейчас ту же самую тяжесть своей духовной зависимости от Юрия... Сейчас она толкает его стать соучастником преступления, которое он должен, но не может, не в

силах предотвратить, потому что его вновь подчиняют себе эти холодные, беспощадные глаза на неподвижном, застывшем, словно маска, лице.

– Может быть, вы все же сойдетесь на извинениях, господа?

– Ни в коем случае!

– Нет!

Вадим подал знак. Противники начали медленно сходиться.

Юрий поднимал уже наган. В следующее мгновение Вишневецкий с изумлением увидел, что маска его лица неожиданно треснула под пробежавшей судорогой. Раздался выстрел: Сережина пуля распоролла сукно шинели у левого плеча Юрия. Вслед за этим Некрасов резко направил дуло вверх к вершинам сосен и выстрелил, словно салютуя.

– Я требую, чтобы этот господин стрелял еще! – срывающимся от возмущения голосом закричал Сережа.

– Стреляйте снова, Некрасов, – с трудом проговорил потрясенный случившимся Вадим.

– Я отказываюсь. – Некрасов, казалось, испытывал большое облегчение и уже владел собой.

– В таком случае я вызываю вас вторично!

– Оставим, прапорщик. – И Юрий просто и убедительно, словно готовил заранее, произнес ту единственную фразу, которая могла унять Сережин гнев: – Нас и без того слишком мало.

8

– Тихо, Серебряный, тихо! Взбесился ты, что ли? Ты мне еще поклади уши, ей-богу, этим промеж них и получишь... Ну?.. «Je cherche la fortune Autour du chat noir»... А если я тебе на копыто наступлю? Черт, грязи... «Au clair de la lune A Montmartre le soir»²¹...

Сережа, чистивший под открытым навесом старой конюшни своего коня, бросил скребницу и, поморщившись от боли, опустил на колено. Кровный, с мощной грудью, белый рослый жеребец недовольно переступил с ноги на ногу.

– Не раз замечал – лошади нервничают в окружении, – сказал куривший на крыльце Вишневский.

С момента дуэли прошло несколько часов, и Вадиму было все еще стыдно сталкиваться взглядом с Сережей, хотя тот наверняка не догадывался о грызущих его мыслях, ведь не из-за него, секунданта, а из-за, слава богу, неожиданного отрезвления Юрия беды не произошло. Но это не снимало с Вадима стыда за свою слабость.

И вины за нее.

– Люди тоже. – Сережа надавил под бабкой, заставляя коня поднять копыто. – Нет, ничего, покуда не слетит... Да стой ты, чтоб тебя!..

²¹ Я ищу Фортуны, как черный кот... при свете луны вечером на Монмартре (фр.).

– А неплохой конь. Должно быть, выносливый.

Стукнула перекладина затворяемого денника. Из глубины конюшни показался Некрасов с отстегнутым путлицем в руках.

– Мне нравится масть, – проверяя другую подкову, ответил Сережа. – Я не люблю изжелта-белых лошадей, хотя на Дону у меня такой был, и тоже недурен... Но у этого серовато-голубая грива – лучше белой в желтизну. Он был бы серым в яблоках, отсюда и отлив – действительно серебряный.

Вадим заметил уже, что Сережа разбирается в лошадях лучше, чем можно было бы ожидать от московского гимназиста, и иногда не прочь это продемонстрировать.

– Но чудовищно обидчив на повод. Если нынче в лесу нас снимут, я не завидую тому красному, который после меня на него сядет.

– Да, более дерьмового зрелища, чем красный на лошади, еще поискать... – Юрий стянул надетую было перчатку и оценивающе потрепал коня по холке. – Особенно хороша буденновская конница. Однако, прапорщик, не советую вам предаваться столь радужным предположениям: они не вполне уместны.

Замечание было справедливым, но Вадим подумал, что Юрию не следовало его произносить: как бы ненароком слова не сыграли роль поднесенной к соломе спички.

– Вы правы, – спокойно ответил Сережа. – Но, кстати, об этом, г-н штабс-капитан, шагом я ехать смогу, пожалуй, и

галопом тоже.

– Пробирайтесь на авось глупо: стоит что-нибудь узнать в деревне.

– Деревня занята.

– Не важно, население за нас в этих местах почти поголовно. Так что, прапорщик, отлежитесь часа три, так оно будет лучше. Вишневский, ты готов?

– Да, но что у тебя ремень?

– Пряжка проскакивала, я уже исправил. – Юрий быстрыми шагами поднялся на крыльцо и скрылся в избушке.

Вишневский вывел из денника свою взнузданную уже английскую гнедую кобылу и, привязав у короткой коновязи, вернулся в конюшню за седлом. Сборы не заняли и минуты.

– Ну что, поехали? – Вскочивший в седло Юрий обернулся на Сережу. – Прапорщик, если через три часа не вернемся, значит, все в порядке: выезжаете по нашим следам к краю деревни. Ясно?

– Так точно, г-н штабс-капитан! – Сережа, придерживающий незаседланного коня под уздцы, улыбнулся и с невоенной небрежностью махнул рукой.

Некоторое время Некрасов и Вишневский ехали шагом. До вечера было еще далеко, но февральский день становился уже бессолнечно-белым. Этот искусственно белый в отражающем дневной свет снегу лес неожиданно напомнил Вадиму полузабытый мир учебного манежа, так же освещенного всегда сквозь стекла потолка бессолнечно яркими, словно бросающими налет инея на гнедые крупы, лучами рассеянно белого света.

Манеж... Жизнь столетней давности... И почти такой же, как теперь, Некрасов.

«Кого ищешь, Вишневский?»

«Некрасова».

«А он проводит вольтижировку...»

Издали слышен голос Юрия: «Не дери повод, твою мать!»

Некрасов, которому одному уже доверяют проводить в роли замены занятия с младшими, лениво пощелкивает концом берейторского бича широко расставленные в опилках сверкающие сапоги.

«Собака на заборе! О, Вишневский?»

«Я тебя искал: письмо». – Вадим протянул Юрию узкий конверт с иностранной маркой.

«Спасибо. – Юрий сломал сургуч. – К пешему строю! Но-

га в стремя! Галоп!»

Вишне夫斯基 невольно морщится: упражнение из самых неприятных и едва ли не самое тяжелое.

«В седло! – кричит Юрий, не отрывая взгляда от исписанного старомодным бисерным почерком листка. – Мама тебе передает привет... Видела в Лозанне Льва Михайловича, здоров... Ах ты, твою...»

Замыкающий смену знакомый Вадиму граф Потоцкий не смог вскочить на бегу и по-прежнему бежал, поставив ногу в стремя, рядом с несущейся галопом лошадю. Вторая попытка... Сейчас упадет... Вишне夫斯基 видит, как мальчишка с выступившими от напряжения крупными каплями пота на лбу отчаянно хватается губами воздух... Помедлив, чтобы конец смены оказался ближе, Некрасов, не выпуская из руки письма, пробегает пару шагов и, подскочив сзади, с размаху обжигает Потоцкого звонким ударом бича. От неожиданности тот пулей взлетает в седло, но тут же, залившись гневным румянцем, оборачивается на скаку к Некрасову.

«Приношу извинения, граф! – со смехом кричит Юрий, поигрывая бичом. – Я хотел по лошадке!»

Потоцкий с силой закусывает губу и посылает лошадь. Ничего другого не остается: неписанный закон категорически запрещает принимать за личную обиду любое оскорбление, наносимое в манеже и на строевой подготовке. О первом годе обучения Вадим вспоминает с таким отвращением, что даже простое сознание того, что и этот год является для кого-то

первым, действует ему на нервы.

«*Dura lex sed lex*»²², – пожимает плечами Юрий.

«Знаешь, я иногда думаю: а не слишком ли дура такой *lex*?»

«Почему же?.. – улыбнувшись каламбуру, отвечает Некрасов. – Мы не в Смольном. Дай тебе волю – у нас не останется другого занятия, кроме как всем училищем, сидя в обнимку под кустами, читать Кальдерона²³ в оригинале и бальмонттовском переводе... Ох, Вишневский...»

Некрасов не договаривает, но Вадим читает продолжение фразы в его прозрачном взгляде: военная карьера не для тебя. Он никогда не позволит себе высказать такое вслух. И за этим всегдашним умалчиванием Вадиму, считающемуся лучшим другом Юрия, слышится одно: делай как знаешь, меня это не касается.

«Спешиться! Нога в стремя! Галоп! Что там?.. О, там же Софья Владимировна: врачи надеются на климат... И записка от ее маленькой Лены: интересуется, ест ли моя лошадь яблоки. Кстати, о лошади: сейчас смена откатает, останься, если хочешь, – мне таки удалось добиться от Монгола безупречной левады. В седло! Что там за конная статуя воздвиглась?»

Тогдашний Юрий – моложе теперешнего Сережи. Но дав-

²² Закон суров, но это закон (*лат.*).

²³ *Кальдерон* де ла Барка П. (1600–1681) – испанский драматург и поэт, представитель литературы барокко.

но уже тот, что сейчас. Плоть от плоти армии – как рыба в воде чувствующий себя в атмосфере безжалостных насмешек и жесткой муштры... У Юрия никогда не выступали на глазах слезы бессильного бешенства, никогда не дрожали от обиды губы. Он способен был десятки раз переделывать все, что вызывало нарекания, – это было единственной его реакцией на насмешки и брань.

«А я жалею, что телесные наказания уже не в ходу».

«Это говоришь ты? Я скорее застрелился бы, чем допустил такое унижение!»

«Мне тебя жаль, если тебя это унижает. Меня – нет. Сегодня он, видите ли, не позволит из благородной гордости себя посечь, а завтра в благородном гневе съездит солдатику по морде... Дерьмо! Я не о тебе, Вишневский. У тебя это еще от немецких романтиков».

Новичком Юрий словно не был никогда, как-то очень спокойно перейдя из юнкерской роли в роль офицера. Он словно родился кадровым офицером, а в училище только шлифовал свое офицерство, как ювелир шлифует алмаз, будто знал каким-то внутренним чутьем то, чего по дикой этой нелепости никто и представить тогда не мог: настанет день, когда только от офицерства будет зависеть спасение России...

Будет ли нам прощение, если не спасем?

Вишневский невольно взглянул на едущего с ним вровень Некрасова, но по спокойному его лицу не догадался о том, что мысли Юрия тоже бродили в Петербурге.

«Меня уже тошнит от мистики. Пожалуй, основная ее роль – приукрашивание глупейших и нелепейших поступков. Если мне не изменяет память, вся эта дурацкая история началась со спиритического сеанса?»

«Нет, это был не спиритический сеанс».

«Бога ради, уволь: обсуждай эти тонкости с выжившей из ума компаньонкой моей бабушки, которая шагу не может ступить без потусторонних голосов, или со своим прелестным принцем – словом, с кем-нибудь более для этого подходящим».

«Так стараться унизить можно, только если наверное знаешь, что над тобой поднялись. Впрочем, ты прекрасно знаешь, что Женя тебя выше».

«А я и не подозревал, что мне это известно».

«Ты сам не знаешь, какую правду сейчас сказал, думая, что иронизируешь. Знаешь, какой ты, Юрий, знаешь, какой ты на самом деле? Ты – застывший, такой застывший, что почти неживой. Ты безупречно правилен. Нет, не думай – я знаю и о твоём легендарном пьянстве в училище, и о многом другом. Но даже пороки твои как-то взвешенны: они возможны настолько, насколько это тебе кажется соответствующим твоей роли, той роли, которую ты играешь так хорошо, что она почти без остатку съела актера... Ты никогда не сделаешь того, чего бы от тебя не ждали все вокруг. Ведь это только кажется, что ты никого не замечаешь, а на самом деле ты только и делаешь, что отдаешь всего себя игре на публику! На публику, которая тебе совершенно безразлична! Это

страшное актерство, Юрий!»

«Да, не сделаю, притом сознательно: мы живем в обществе, и безусловный долг каждого – соответствовать взятой на себя роли. Такие, как твой обворожительный рыцарь, рубят сук, на котором сидят, – пусть бы их падали с треском, но, к сожалению, они сидят на нем не всегда в одиночку...»

«Пусть так – но лучше гибнуть, как он, чем отказывать себе в существовании, как ты. Роль съедает тебя – ради публики, среди которой отдельному человеку ты не сможешь дать ничего, потому что все съедено, потому что тебе нечего давать... Помнишь наш разговор, когда ты приехал с фронта на дачу? „Там страшно?“ – „Разумеется, Лена, на войне всегда страшно“. Это же маска твоя, роль твоя мне отвечала, а не ты! Я не знаю, какой был под этим ты, и был ли... Ты ненавидишь его не из-за меня, иначе бы ты не ненавидел, а презирал. Презирают слабого врага, а ненавидят – сильного. Этого твоя гордыня не может ему простить. Он – первый, с кем захотела говорить твоя живая душа, ты хочешь от него ненависти, ты ненавидишь его за то, что он не ненавидит тебя, а просто не замечает в детском своем эгоизме... На нем первом, не на мне, ты ожил. Ты не можешь простить ему, что твоя живая душа к нему потянулась – это не важно, что в ненависти, – а он не ответил тебе».

«Ты договорилась до абсурда: у тебя вышло, что я чуть ли не романтическую любовь питаю к герою твоего сомнительного романа».

«Бывает ненависть... подозрительно похожая на любовь».

«Чушь! К тому же я отнюдь не ненавижу Женю – все это глупости. Просто хорошо тебе известные прискорбные обстоятельства не дают мне забыть о его существовании, как я сделал бы в любом другом случае».

«До тебя не достучаться, Юрий. У меня никогда не получалось с тобой пробиться к чему-то живому. А с Женей это удалось, притом – мимоходом. Я люблю его не за его слабость, которую ты так хорошо видишь, а за ту силу, которой в тебе нет».

Неужели в этих ребяческих словах была какая-то правда? Никогда не может вся вина лежать на ком-то одном... Неужели во всем был виноват не один Женька, так неожиданно выскользнувший из небытия в интонациях и жестах этого штабного мальчишки?

Прошло около получаса. Сережа, вернувшийся в избушку вскоре после того, как уехали Вишневецкий и Некрасов, некоторое время неподвижно пролежал, закинув руки за голову, на нарах, глядя в низкий бревенчатый потолок. Он не желал признаваться себе в том, что отсутствие Юрия обрадовало его, на некоторое время избавив от необходимости продолжать начатую игру, – последствия ранения ощущались значительно сильнее, чем ему хотелось показать. Сережа не мог позволить себе расслабиться при Некрасове, поскольку это поставило бы того в ложное положение, ведь именно из-за этого ранения Некрасов отказывался стреляться, но был на то спровоцирован.

«Я знал, что не попаду, иначе я не смог бы стрелять», – подумал он.

Перед дуэлью в нагане оставался последний патрон. Теперь барабан был пуст. Сережа наполнил магазин и, ласково качнув револьвер в руке, положил его на нары.

Сна все равно не будет, как почти не было ночью. Бессонница от усталости... Казалось бы, должно быть наоборот. Нет ничего более изматывающего, чем бессонница, приходящая после боя или в спертom воздухе лазаретов.

«А здорово знобит». – Сережа набросил на плечи полушубок и, тяжело поднявшись, подошел к печке.

Чугунная маленькая дверка скрипнула на ржавых петлях, и в лицо полыхнуло красным жаром еще горячих углей. Опустившись на пол перед печкой, Сережа выбрал из сваленных рядом дров тонкое сухое поленце и положил его на угли. Сначала показалось, что огонь не разгорится, но через минуту тонкие язычки прозрачно-алого цвета, пробившись снизу, задрожали по краям полена и побежали вверх. Держа в руке полено потолще, Сережа смотрел в разгорающееся пламя, ожидая, когда можно будет запихнуть его вслед за первым.

«Как в Жениных стихах об огне, где огонь – тела танцующих саламандр... Как же там?..

Опустимся к огню, любовь моя!
В ночи над домом ветер гнет деревья.
О, в эту ночь тебе открою я
Разгадку зачарованности древней!
Багряным жаром угли налиты...

Нет, что-то еще до этого...

Как тысячи ушедших в ночь до нас,
Склонимся мы в таинственном влеченье
Ловить в огне незримые для глаз
Пленительные огненные тени.
Багряным жаром угли налиты,
Шепнем слова людьми забытой мантры.
Забудь метафор „алые цветы“:
В углях встают и пляшут саламандры.

Как близко он – летящий мир огня!
Но дух гнетет сознание разлуки:
Живого здесь не примет он меня,
Не причинив жестокой смертной муки.
Ложится прахом нежная зола,
В слезах смолы поленья умирают,
А саламандр сплетенные тела
В волшебном танце вьются и играют.

Тоже – к Елене Ронстон. Елена – факел, свет... Свет Жениных ночных стихов? А ведь не было ничего обидного для Елены в этих словах Некрасова... Была ненависть... Ненависть... к Жене и что-то еще... Я не знаю почему, но я должен был его вызвать, не мог я... просто так... Я уже достаточно убийца, чтобы понимать, как преступно и гадко с этим шутить... Нет, было что-то скрытое, что не оставляло мне другого выхода, кроме как, зная, что не попаду, встать к барьеру. Почему я должен был встать под его выстрел? Но, может быть, прямо спросить Некрасова о том, что было между ним и Женей?.. А-а, легок на помине!»

Пальцы Серезиной руки произвольным движением впились в упругий белый мех.

– Руки вверх, сволочь!

Полушубок соскользнул на пол. Сережа с быстротой взвившейся пружины вскочил на ноги и, размахнувшись, швырнул оказавшимся в руке поленом в возникшего на пороге человека с поднятым маузером, прежде чем успел уви-

деть красную полоску поперек папахи, комиссарскую кожанку, выглядывающую из-под наброшенной на узкие плечи бурки, молодое лицо с горбинкой носа, искривленные ухмылкой губы – и еще двоих за спиной первого.

«Наган!»

Слишком маленькое, даже если успеть выбить стекло, окошко... Загороженная дверь... Десятая доля секунды потребовалась на то, чтобы осознать суть захлопнувшейся за падни, – военная реальность мстила за то, что была забыта...

– Живьем, штабной!

«– Ваше высокопревосходительство!..

– Как, вы еще не уехали, Сережа?

– Я подумал, Николай Николаевич, может быть, я и второй пакет захвачу сразу – какой смысл возвращаться?»

Merde!²⁴

Дверь, в которой появились красные, находилась между печкой и нарами, где лежал револьвер. Сережа метнулся к нарам, но был остановлен бросившимся ему наперерез рослым красноармейцем, который был тут же отброшен отчаянным Сережиным усилием и, с грохотом опрокинув скамейку, растянулся на полу... Наступив на красноармейца, Сережа потянулся уже со следующего шага схватить наган, но на его руках, заламывая их за спину, повисли подскочивший

²⁴ Дерьмо (фр.).

комиссар и второй красноармеец... Сережа вывернулся...

– Ах ты, падла!

Вскочивший красноармеец бросился на Сережу. Двое других снова накинулись сзади: в следующее мгновение Сережа очутился на полу, но, не ощущая боли ударов, продолжал сопротивляться с отчаянным бешенством, пытаясь проташить на себе страшноватую «кучу малу» к лежащему на нарах нагану. Это почти удалось, но выскочивший из драки комиссар, примерившись, несколько раз ударил его по голове рукояткой маузера.

Москва, которую больше не суждено увидеть...

Какой встает она, когда между вами пролегли столетия военной преисподней?

Зимней многоликой сказкой твоего детства? Множеством проникающих друг в друга, окружающих твои первые шаги миров?

Первый – замкнутый мир комнаты с темно-голубыми плитками печки, которая топится только тогда, когда не справляется калорифер... Разбросанные на медвежьей, с доброй мордой и стеклянными глазами шкуре – она живая – причудливо выпиленные деревянные кусочки пузелей... Если сложить их правильно, получается картинка – вещей Олег разговаривает с волхвом. За Олегом – дружина в шлемах и кольчугах, с красными щитами. Волхв опирается на посох и показывает рукой на белого коня, на котором сидит Олег.

А в двух шагах от теплой замкнутости этого мира вход в другой – в ослепительно искрящийся алмазный лес, в котором цветы выше деревьев...

Нагретый на калорифере большой медный пятак... Вывеска булочной за кустами утонувшего в снегу сквера, через который бежит рыжая собака... Ты смотришь на это, забравшись на стул к подоконнику высокого окна, проникнув через холодное сверкание алмазного леса...

Полутемные, с прилавком по твой подбородок, лавки, таящие в себе странствия по стеклянным пейзажам тяжелых шаров и глянцевым страницам книг...

Москва... «Город чудный, город древний...» – помеченная кляксой страница хрестоматии.

Или более поздние, но такие же дорогие и таящие в себе такое же постоянное ожидание чуда картины... Заснеженный снаружи манеж, пар от дыхания лошадей, бегающих по кругу под шелканье бича... Звонкий ледок, сковавший дорожки Александровского сада... Музыка на катке... Звон разрезающих лед коньков... Кресла на полозьях... Смех...

И кажущиеся тебе такими волшебными все встреченные на катке и в Александровском саду зимние девочки. Их звонкие голоса, их разметавшиеся от быстрого лёта полозьев локоны – из-под меховых капоров, их сияющие глаза и румяные щеки, пушистые муфты, клетчатая шотландка или темное сукно подолов, в тяжелых складках которых мелькают шнуrowанные до колен ботинки... И ты с радостью созна-

ешь, что они не человеческие существа, а живое и многоликое воплощение зимней сказки...

Москва... Всегдашнее ожидание чуда... Весеннее солнце на золоте бесконечных куполов... Канун Пасхи. Камни еще так недавно появившейся из-под снега мостовой... Тепло пахнувший пряностями и сдобой кулич. Ты несешь его поставленным на тарелку, в белоснежном твердом узле накрахмаленной салфетки...

Весенне-распахнутое голубое небо, старые разросшиеся вѣтлы на церковном дворе. Под ними длинный, через весь двор, стол, на котором, как снежные цветы, неожиданно раскрываются белые хрустящие узлы, а из них появляются большие и маленькие, разноцветно глазированные, обложенные ярко разрисованными или обернутыми в цветную фольгу яйцами куличи, холодные пирамидки пасхи...

Еще немного – и над куличами загораются огоньки тоненьких красных свечек... Ты защищаешь ладонями от весеннего ветерка жизнь этого маленького огня. Вот уже становится во главе стола молодой черноволосый священник. И ты ждешь, что сейчас упадут благоухающие брызги освященной воды и наполнят радостно-волшебным содержанием то, что минуту назад было всего лишь сдобным хлебом, глазурью и коринкой.

Весь день, с утра, по улицам и переулочкам Москвы плывут белоснежные узлы с куличами.

А вечером по всей квартире беготня, хлопанье дверей, те-

лефонные звонки, доглаживание чего-то утюгом... В празднично сверкающей столовой уже накрыто для разговенья, и у тебя при виде всего этого скоромного великолепия сжимает нервным спазмом горло: во владеющем тобой возбуждении ты не можешь есть уже со вчерашнего вечера. Идут все – вместе с родственниками и друзьями семьи – в храм Христа Спасителя, идет даже Женя, слишком демонстративно для того, чтобы это было правдоподобным, подчеркивающий, что всего-навсего намерен соблюсти в угоду родителям общепринятые условности...

Идут все, но ты идешь не со всеми.

Ты идешь один – в маленькую светло-желтую Обыденку, церковь Ильи Пророка.

Выжидательное стояние в полутемной еще церкви перед началом службы... Кто-то сзади негромко рассуждает о том, что живопись все-таки не способна передать эту просто-душную яркость золота православного иконостаса... Начало службы... Час... другой... Томительная дурнота от напряжения и голода... Холодеющий в сердце нелепый сумасшедший испуг: а вдруг – нет, вдруг не прозвучат в полночь те единственные слова, способные в мгновение ока наполнить церковь ликованием и ослепительным светом?! Бешеный стук сердца, отчаянно мчащегося в груди навстречу этим словам... И последний – как будто оно сейчас вылетит наружу – тяжелый и огромный его удар, и губы сами выдыхают гремящие уже под озаряющимися сводами два един-

ственно заветных слова: «Христос воскрес!»

И твой голос сливается с десятками других голосов, и уже нет, ни сердца, ни тела, ни тебя самого, а есть только невыносимое своей полнотой, мучительно пронзающее твое существо счастье...

Как будто сама по себе вспыхивает в твоей руке тоненькая красная свечка. Когда горит очень много свечек, воздух напоминает живой струящийся хрусталь. Горячий хрусталь...

Капли расплавленного воска стекают по твоим пальцам – кто-то с улыбкой подает тебе картонный кружок, ты берешь, благодаря ответной улыбкой, но незаметно прячешь в карман... Догорающую свечку ты держишь так, что она сгорит дотла в твоих пальцах, обжигая их, – этих ожогов не будет.

Ты пойдешь туда один. Ты сам не можешь себе объяснить, почему не хочешь разделить все это с теми, кто бесконечно близок и дорог тебе, но тебе легче не пойти совсем, чем сделать это... Может быть, это потому, что сейчас тебе помешали бы привязанности твоей жизни, – они должны в эту минуту отступить перед той могучей и великой связью, которая соединяет чужих...

Ты не можешь поделиться этим с близкими, так же как и своим блужданием после службы до самого рассвета по темной Москве, и вся она будет твоей – от кремлевских орлов до булыжника под ногами. Ею ты тоже не будешь делиться ни с кем. Где это понять холодным петербуржцам, с вьезшейся в рассудок и кровь ледяной геометрией их ледяного города!

Ах, эти давние споры о Москве!

Голос Вадика: «Геометрия? Извольте, господа, сколько угодно! В нашей геометрии есть четкость и, уж во всяком случае, единый стиль – она несравненно лучше эклектики этой азиатской вакханалии, в коей вам угодно видеть нечто глубоко русское. Взгляните на новгородскую Софию! Не нашей ли геометрии она ближе по духу, чем вашему пряничному St. Basil²⁵? А входящий в силу модерн окончательно превратит Москву в нечто несусветное. Многоэтажный модерн, вздымающийся над ее азиатским хаосом... бр-р!»

Голос Жени: «О нет! Напротив того, в модерне – будущее Москвы, она зарастет им, как дивными экзотическими цветами. Тенишевский круг, Врубель, Васнецов, Рерих – все они вливают в модерн национальное содержание. Это новая гармония!» – «Стилизация? Да еще на древнюю основу?» – «Дело не в стилизации и даже не в модерне, а в том, что вырастает из него... Это грядущее только чуть проглядывает из модерна, оно еще не расцвело. Взять работы Шехтеля – это уже не только модерн... Москва – роскошный цветок, она распускается сама по себе, делая неповторимыми сочетания и пропорции, невысказанные ни для кого другого!»

Споры... Москва... Семь холмов под красной короной... Воспоминания ткнут твой образ, затейливо переплетая великое с бесконечно малым, и это переплетение делает тебя особенно драгоценной.

²⁵ Василий Блаженный (англ.).

Москва... Восточная царица в кремлевской короне...
Плывущий отовсюду золотой перезвон... Автомобильные
гудки, копыта по мостовой... Мюр и Мерилиз... Страстной
монастырь... Драконы над чайным китайским магазином...

Книга Вторая
Борьба незримая
(апрель-декабрь 1919
года, Петроград)

*Vexilla regis prodeunt inferni*²⁶.
Dante

²⁶ «Вот близятся знамена царя ада» (*лат.*). См.: Данте. Божественная комедия. Ад, XXXIV, I.





Зампред ВЧК²⁷ Яков Петерс, невысокий, полный, светло-волосый человек с близко посаженными глазами на пухлом лице, в кругу своих чаще называемый Яном, досадливо поморщился. Водворив желтую папку с пометкой «Оружейный

²⁷ ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (1917–1922). В романе фигурируют реально существовавшие создатели и руководители ВЧК: Ф. Э. Дзержинский, Я. Х. Петерс, И. С. Уншлихт, Я. Г. Блюмкин.

завод» на одну из тесно громоздящихся на столе стопок, он пододвинул к себе новую высокую стопку с грифом НЦ.

Верхней в стопке лежала новенькая папка, взглянув на которую зампред поморщился вторично: черт бы побрал этого золотопогонного сопляка!

В гараж бы и вся недолга... Третья бессонная ночь здорово дает себя знать. Хочется уронить голову на руки и заснуть. В гараж... Нельзя. Офицерик из штаба самого Юденича²⁸. Нельзя...

В безлюдном, пустом на вид Петрограде идет, продолжает идти жизнь. И где-то в недрах этой жизни – склады оружия, сеть конспиративных квартир, регулярное сообщение через линию фронта, центры саботажа – незримая деятельность подпольных организаций, самая опасная из которых – монархическая офицерская организация «Национальный центр». Численность ее, по имеющимся сведениям, активно пополняется сейчас кадрами с фронта. Эта переброска говорит о том, что тут ждут не дождутся, когда армия Юденича вместе с Северным корпусом подступит к Петрограду, и готовятся встретить ее во всеоружии.

Распутывать, распутывать каждый клубок, каждую ниточку, которые тянутся к Юденичу...

Да, лихо он загнул на вчерашнем собрании: «Распутывать

²⁸ Юденич Н. Н. (1862–1933) – один из глав Белого дела, генерал от инфантерии, дворянин, выпускник Академии Генштаба, участник Русско-японской и Первой мировой войн. В 1919 г. возглавлял наступление Северо-Западной армии на Петроград.

каждую ниточку»... Это особенно здорово прозвучало, ребята даже хлопали. И вот она, на столе, ниточка, поди ее распутай! А не распутаешь – себе дороже. Сучий лях не забыл, как пришлось на полгода подвинуться с места. Памятлив, гад, ох и памятлив... И еще неизвестно, кто из своих работает на него, копит Петерсовы промашечки-ошибочки.

Петерс раскрыл папку. Взгляд скользнул по знакомым до оскомины строчкам. Не представляющие интереса личные бумаги. Документы, удостоверяющие личность посыльного в штабе Юденича. Непромокаемый пакет с цифровой шифровкой, объем в десять ремингтонированных листов. Пометка на конверте: «Петроград, лично полковнику Л.». И что делает особо острой необходимость вытянуть ключ – так это то, что такие штучки не ползают через границу в одном-единственном экземпляре... Расшифровать не удалось – ребята мудрили и так и эдак. Цифры не дублируют друг друга ни разу.

Уже несколько допросов его, Петерса, водит за нос этот паскудный щенок. А ведь сперва показалось, что расколоть будет легче легкого, – с такой спокойной простотой мальчишка отвечал на все вопросы. Да, документы верны. Да, штаб Северо-Западной. Знаком ли с главнокомандующим? Разумеется, да. Как близко? Лично состоит в распоряжении его высокопревосходительства.

Может быть, парень не так прост? Хотел набить себе це-

ну? Но какого ж рожна ему было надо, если как раз тут-то он и перестал отвечать?!

Хотя... это как посмотреть. Были ему даны распоряжения насчет шифровки? Да, были. Какие распоряжения? Сопроводительные к шифровке. В чем заключались? В непосредственных инструкциях. Каких инструкциях? По выполнению задания.

Гаденыш!.. Что особенно бесит – ни капли гонора не было в этом издевательстве. Было безразличие. Вежливое и почти... доброжелательное.

Стоп, стоп! Да вот она – зацепочка! Нету у него ключа, попросту нету! Врет! Потому врет, что в гараж неохота, ясное дело... Смекнул небось, что ему и жить только до тех пор, покуда думаем, что из него что-то можно выжать... И пока идут допросы, поймал единственный шанс, не зря и карты открывает: знаком, мол, лично состою... Что ж – тут можно одну идейку обмозговать.

Петерс запустил в волосы короткие пальцы. Ладно, по ходу будет видно. Что они там копаются, черт возьми? На сегодняшний день еще двенадцать допросов только по делу НЦ и три по забастовке инженеров!

– Алло? Петерс. Вы что там – у тещи на блинах?! Мне следующий на допрос будет или нет?

2

Первый, второй пролёт лестницы... Еще одна площадка... Голова немного кружится, впрочем, это не важно.

«Каким все это рисовалось в воображении? Допрос в виде поединка. Превосходство жертвы над палачом. Господи, как глупо! Нравственного превосходства этот человек видит в тебе столько же, сколько в бутылке, от которой куда-то пропал штопор... Поединка нет. Но нет даже и зрителя, потому что играть роль благородного героя перед этим существом – слишком явное метание бисера... Ах ты, черт!»

Справляясь с головокружением, Сережа прислонился к стене.

– Руки назад! – Конвоир, молодой парень с проступившим в лице выражением легкого испуга, с поспешной лихостью клацнул затвором.

Сережа, скользнув по красноармейцу безразлично-мертвым взглядом, помедлил, собираясь с силами: «Нашел чем пугать, безмозглый дурак! Других проводили утром по коридору, а я это видел. Я видел, как по коридору проводили других. О чем я думал? Ах да... О поединке... Но плевать на поединок, не в этом дело, совсем не в этом. Но ведь вообще никто не узнает о том, корчил ты тут древнего римлянина или вылизывал дурно пошитые сапоги работников

Чрезвычайки... Можно не сомневаться в том, что в любом случае вся отчетность успеет сгинуть в этих довольно мало-романтичных стенах... Так что на внесение в анналы отечественной истории рассчитывать не приходится. Зрителей нет. Впрочем... Честь имею представиться, г-н прапорщик! Вот мы и докопались с вами до самого дна... Вот оно – дно. Это то, что нельзя отнять. Не мало ли этого зрителя? Если мало, то играть больше некого. А за этим – конец, более страшный, чем смерть».

3

– Ну что, не надумал разговориться?

Голос и вид человека за столом не сразу, а будто откуда-то издалека проникли в сознание Сережи: к горлу подступил комок тошноты. словно сама болезнь, бродившая по телу кругами – от дырявого легкого до неподживающей ноги, болезнь, обволакивающая мозг липкой паутиной лихорадки, тошнотворно и мучительно перехватила дыхание. Болезнь и грязь, второе делает первое еще более гадким. Но ведь это почти отдых, когда так дурно, потому что дает единственную возможность не думать о том, о чем думать невыносимо.

– Да не тяни ты резину, парень. – Усталое добродушие проступило в голосе следователя. – Думал бы ты головой, в конце концов... Хоть бы родных пожалел! Или ты их меньше паршивой бумажонки ставишь, в которой, кроме туфты, может, и нет ни хрена? Может, думаешь, своей молчанкой Юденичу Петроград презентуешь? Поналезло ж вас, кутят слепых, в эту кашу... Если хочешь знать, может, я и зря тут с тобой валандаюсь. Очень даже часто в нашей работе – распутаешь дело, а в итоге пшик! Это я не потому говорю, что за столом за этим сижу, а попросту жалко тебя, дурака. Так что кончай мне ваньку валять.



... Можно не думать о том, что ты дал себя взять с важными документами на руках; что много страшнее мысли о собственном бесчестии – мысль о том, что не только военных проводят в четыре утра по коридору... Можно только смутно бредить горячей ванной, бритвой, мятной пеной дорогого мыльного порошка... Нет, сейчас нельзя ему погружаться в эту спасительную дурноту... Надо прийти в себя.

«Прапорщик, вы забыли о своей роли. Хорошая штука – роль... Просто придерживаться принципов – это как-то для меня слишком сложно... Уж очень трудно зримо представить себе этот самый принцип, чтобы за него можно было подержаться руками, когда начнешь тонуть... Некрасов бы, пожалуй, смог. А мне много легче попросту разыгрывать Альба Лонгу в пяти картинах... Роль ведет сама. Дрянь же вы, прапорщик! Ладно, *passons*²⁹, со своей дрянностью разбирайтесь сами... Где же ваше фамильное легкомыслие? Играйте на нем, пусть вам и дальше представляется, что все, что относится лично к вам, – это игрушки, что в любую минуту вы кончите спектакль и пойдете пить чай. И поменьше внимания на статистов».

– Ты, может, курить хочешь? – Надорванная пачка дореволюционных папирос «Ира». – Не стесняйся...

Нервный спазм сжимает горло... Одну затяжку!..

– Спасибо, не хочу.

²⁹ Оставим (*фр.*).

– Слушай, ты, падла!.. – Качнувшаяся от неожиданного удара в челюсть голова на мгновение падает на грудь. Надо заставить себя поднять ее и встретить взглядом следующий удар. – Я ж тебе, щенку сопливому, глаз вытащу!

– Будьте любезны объясняться со мной по-русски.

А попал, кажется, точнее, чем целился: в лице латыша на мгновение вспыхнула настоящая ненависть. Кого только нет среди чекистов! Интернационал в действии? Или некая особая нация, языком которой служит этот пакостный жаргон? Как-то незаметно стал понятен этот их язык. «Вытащить глаз»... «Рогатка» – два пальца, наведенные на переносицу.

– А если я тебя завтра в гараж отправлю? – Петерс, легко отбросивший напускную ярость, снова делается флегматично-спокойным.

– Можете хоть сейчас отправлять.

– Успеется, не торопись. – Петерс почти приветливо взглянул на Сережу. – Больно красивым ты, голуба душа, в гроб захотел. Я погляжу, вроде и зубы целы.

А не удивляешься, почему? Небось понял, ребята у меня умелые. Горячие вот иногда. Кстати, кто это по пальчикам сапогами прогулялся? Ну да не важно.

А дело, парень, вот в чем. Я ребятам приказывал тебе покудова портрета не портить. Я ведь твою молчанку давно раскусил. Ни хрена ты не знаешь, парень. А вот чтоб цену себе набить, это ты толково смекнул. Я толковых люблю. Ска-

жи-ка вот чего: Николай-то Николаич не хуже папаши родного обрадуется, ежели адъютантик его, почитай, из мертвых воскреснет?

– Я вас не понял.

– Да побег сварганим. Понятно, кой-чего подпишешь сперва. Ты чего уставился, как французский лорд? Уж хватит в благородство играть, думаешь, долго улаживать тебя буду? Идет фарт – так не зевай! Обмозгуй все это до завтра, а нет – в гараж. Только, извини, не сразу. Все! Увести!

На широком подоконнике, мимо которого по коридору ведут Сережу, сидят две девушки – короткие стрижки, сапоги, кожанки, юбки, едва прикрывающие колени. Одна – голубоглазая белокурая, похожая на первоклашку, подстриженного перед сентябрем «под ноль».

У второй черные блестящие волосы, вьющиеся мелкими колечками, – еврейка. Девушки пьют морковный чай, подливая его из закоптелого чайника, стоящего рядом, и с молодым, веселым аппетитом жуют черный хлеб, негромко обсуждая что-то между собой...

Поравнявшись с ними (светловолосая девушка скользит по нему невидяще-спокойным взглядом – так смотрят на неожиданно скрипнувшую на сквозняке дверь: просто на мгновение поднимают голову, даже не отдавая себе в этом отчета), Сережа слышит обрывок разговора...

– Вот я, Надька, и не знаю даже...

– А чего тут не знать? В личной жизни надо решительно: да – так да, нет – так нет, а антимоний разводить некогда! Мы, в конце концов, коммунистки, а не какие-нибудь буржуйские барышни...

Дверь в конце коридора, по которому идет сопровождаемый двумя конвоирами Сережа, широко распахивается.

– Привет, девчонки! – громко и весело кричит через ко-

ридор показавшийся из нее молодой человек в неизменной невыносимой кожанке. – Горяченьким поделитесь?

– Тащи стакан! – так же весело звучит в ответ уже за спиной Сережи прокуренный девичий голос.

– Момент! – Молодой человек снова скрывается в двери.

Под ногами коробятся грязные серые паркетины.

Сапоги разъезжались в глинистой рыжей грязи. Шедший впереди Юрия Ян, рыжий проводник-финн, неожиданно остановился.

– Что там?

– Нет, ничего. Послышалось... – Ян поправил лямку на плече и с привычной ловкостью начал быстро подниматься по поросшему молодняком склону овражка.

Выйдя к широкому, поваленному с корнями стволу березы, они остановились передохнуть. Юрий вытащил фляжку с коньяком и, сделав два приятно согревающих нутро глотка, молча протянул ее финну. Закусив коньяк горьким и, как сургуч, твердым от холода шоколадом, они закурили.

В весенне-мокроем лесу уже неуволимо начинало темнеть.

Следя за растворяющимися во влажном воздухе струйками дыма, Юрий мучительно боролся с желанием выпить еще, осушить фляжку до дна, а потом, словно вымещая бессильную злость, с силой зашвырнуть ее в кусты...

«Хватит, в конце концов! Надо взять себя в руки... Ну какое мне, собственно, дело до смерти мальчишки, которого я сам едва не убил? Нельзя было его оставлять... Да что я, нянька ему, что ли, merde! Он – офицер, взрослый человек, прошел не одну кампанию... и каким-то непостижимым образом умудрился не повзрослеть».

Перед глазами Юрия в который раз всплыла пустая, с остывающей печкой сторожка, где все безмолвно рассказывало об отчаянной и неравной недавней борьбе... Утоптаный снег у крыльца... Настежь распахнутая дверь... «Сережа!» – ни звука в ответ. Разводы растаявшего снега на полу, опрокинутая мебель, разваленные дрова, треснувшее оконное стекло... И – неизвестно откуда – вспыхнувшая в голове безжалостная разгадка мучившего весь день вопроса... «Так вот почему он так старался подставить себя под мой револьвер!.. Он же заплатил долг. Заплатил долг за Женьку... Сам того не зная, заплатил. Отныне Женечка Ржевский мне более ничего не должен».

Хватит! Сколько можно, в конце концов, предаваться этому идиотскому самокопанию?! Баба!

Но, обманывая себя искусственно вызываемой злостью, Некрасов не обольщался на свой счет: он понимал, что все-таки обманывает себя, но запрещал себе признаваться в этом... Как и в том, что Сережа перевернул в нем всё... Прошлое стало наконец прошлым: боль утихла, а ненависть потухла... И на душе стало пусто, как в доме, из которого вынесли мебель.

«Но если бы он снова остался жив, я снова возненавидел бы его. И все-таки я очень многое отдал бы, чтобы он не погиб. Ладно, в сторону!»

– Долго еще? – нехотя поднимаясь, спросил он.

– Почти пришли. Через фронт в этот раз удачно проско-

ЧИЛИ.

6

Во дворе одноэтажного, типичного для питерского пригорода дома залаяла натянувшая цепь собака.

– Кто?

– С приветом из Ревеля, – ответил Некрасов.

– Проходите... – Нешироко открылся черный провал передней.

– Здравствуйте, Ян. – Зазвенели запоры. Задвинув последнюю защелку, молодой, судя по голосу, человек повернул к Некрасову белое в темноте лицо. – Подпоручик Чернецкой!

– Штабс-капитан Некрасов!

Рядом с холодной облицованной белой плиткой печью стояла жарко топившаяся «буржуйка». Керосиновая лампа на покрытом клеенкой столе освещала небольшую комнату с плотно зашторенными окнами.

Теперь Некрасов смог разглядеть Чернецкого, опустившегося на пол перед сваленными у печки дровами. подпоручик казался на вид несколько молод для своего звания. Он был довольно бледен, черноволос, с темно-карими, казавшимися почти черными глазами под тонкой ломаной линией бровей... Чернецкой, так же как Юрий, был одет в ватную черную душегрейку, но эта безобразная одежда только подчеркивала юную привлекательность его холодного, чуть деви-

чьего лица.

– Документы для вас уже готовы, настоящие, от «Софьи Власьевны», – недобро улыбнулся подпоручик. – Всё при смерти, да никак не скончается, бедная женщина. Вот, пожалуйста, на имя Ивана Васильевича Сидорова, невоенно-обязанного.

«Софья Власьевна» было бытовавшим в среде офицеров ироническим обозначением советской власти.

– Неплохо, что настоящие... – Юрий, скинув телогрейку, тяжело упал на кожаный, с зеркальцем в высокой спинке диван.

– Что вы, г-н штабс-капитан, – Чернецкой поставил на печку большой чайник, – теперь только эдак. Все документы выдаются советской властью совершенно легальным образом; о чем, кстати сказать, на общих с эсерами квартирах мы предпочитаем деликатно умалчивать. Им полагается считать, что мы также пользуемся, гм... услугами уголовного мира. Это, как выражаются союзники, специфическое «хобби» наших людей – подрабатывать на жизнь в советских учреждениях, желательно военного и оборонного характера. – Чернецкой негромко рассмеялся. – Есть неплохой «мокко»... Или все-таки чай?

– Если можно – кофе. Я все равно засну как убитый.

– Немудрено после такой прогулки. Вы, конечно, тоже кофе, Ян?

Некрасов взял небольшую книжечку, валявшуюся рас-

крытой на диване, с которого Чернецкой за минуту перед этим поспешно поднял и спрятал в карман какой-то непонятный по своему назначению предмет – что-то вроде странного вида длинной перчатки из черного шелка... Книжечка оказалась антологией английской поэзии.

– «If You can keep Your head When all about You Are loosing theirs...»³⁰ Коротаете время?

– С тоски, чтобы хоть язык не забыть. И без того чувствуешь, что дичаешь. – Чернецкой нервно чиркнул спичкой, зажигая папиросу. – Причем здесь как-то больше, чем на фронте. И вообще, очень хочется на фронт.

– Лучше, пожалуй, в скором времени перенести фронт сюда.

– Вы правы. Итак, г-н штабс-капитан, завтра утром, когда Ян пойдет обратно, мы с вами отправляемся в штаб.

³⁰ «Если ты не теряешь головы, когда все вокруг теряют головы...» (англ.) – строка из стихотворения английского поэта и прозаика Р. Киплинга (1865–1936) «Если» (1910).

Привыкший уже к изменившемуся, обезображенному лицу столицы, Вишневский торопливо шел по Невскому.

На прошлой неделе прибыл благополучно перебравшийся через границу Юрий, назначенный штабом Центра руководителем оперативной группы. Новые звенья энергически подсоединяются сейчас к общей цепи. Перед каждой группой ставятся особые задачи, группы комплектуются из испытанного офицерского состава. И все это очень правильно: здесь, во вражеском тылу, каждый отдельный офицер значит гораздо больше, чем на линии фронта.

Некрасов объявил вчера, что их группа ответственна за подготовку взрывов и сами взрывы петроградских мостов. Об этом пришла через фронт особая шифровка. Собственно, «пришла» – сказано не совсем исчерпывающе... Пришла, но не по назначению, а напрямиком в Чрезвычайку. Там и сейчас лежит ее нерасшифрованный оригинал, побывавший уже в руках своего человека. К сожалению, извлечь из стен Чеки ее текст значительно легче, чем того, кто ее доставлял. Мысли об этом неизвестном и, кажется, довольно молодом офицере, который продолжает молчать там, в Чрезвычайке, не оставляют сейчас всех, хотя нечасто высказываются вслух. Он даже не знает о том, что уже работает прочитанная в штабе шифровка. А она работает. Именно она торо-

пит сейчас Вадима по грязному, замусоренному Невскому.

Да, второй дом по нечетной стороне переулка... Небольшой двухэтажный особняк: вход во двор – не через арку, а через белые когда-то столбы. Во дворе, очень небольшом, несколько старых дуплистых деревьев, летом затеняющих окна. Скамейки, последний снег на широких каменных вазах, когда-то бывших клумбами, – теперь в них, скорее всего, сажают разрезанный на четвертинки картофель... Всего один парадный подъезд – очевидно, в доме не более четырех квартир, по две на этаж. Хороший, спокойный дом, с выходом не на улицу, а в переулок – такой дом как раз подходит для человека, занятого напряженной умственной работой.

Дверь подъезда открылась. По широким ступеням крыльца начала спускаться девочка лет девяти-десяти. Она прошла мимо Вадима, не замечая его, но сама невольно привлекла его внимание. Это была какая-то очень «дореволюционная» девочка, дитя из прежней нормальной жизни: белая цигейковая шубка и шапочка с помпонами из меха, высокие ботинки, юбочка из шотландки – все по росту и по размеру – традиционный будничный вид ребенка, такой обычный когда-то и такой необычный сейчас...

Еще раздумывая над этим, Вадим поднялся на второй этаж и (звонок, разумеется, не работал) постучал в дверь. Прошло около пяти минут. Вишневецкий постучал снова. Может быть, ошибка? Нет, в полумраке лестничной площадки поблескивала медная табличка: «Инженер В. Д. Баска-

КОВ».

Нет, никакой ошибки...

Вишневский опять постучал. Какие дела могли заставить Баскакова уйти из дому в назначенное для встречи время?

Машинально вытаскивая портсигар, Вишневский медленно спускался по лестнице... Подождать немного? Пожалуй, около десяти-пятнадцати минут можно спокойно, не привлекая внимания посидеть во дворе.

Выйдя во двор, Вадим снова увидел «дореволюционную» девочку: стоя у каменной вазы, она собирала с нее снег и, набрав полную горсть, поднесла ко рту.

– Разве можно есть снег! – невольно окликнул ребенка Вадим, подходя ближе.

– Можно. – Девочка смотрела на него. У нее был немного острый подбородок, большие, как часто бывает у детей, глаза очень необычного цвета – с радужкой из серых, зеленых и коричневых причудливо перемешанных точек – без единой желтой. – Если больше нечего.

Перестав все же есть снег, девочка посмотрела на растерявшегося Вадима так, словно ожидала от него чего-то плохого, но при этом без всякого страха. (Лицо ее, впрочем, не несло отпечатка истощения, вынуждающего утолять голод снегом.)

– Извини, пожалуйста. Я думал... – Вишневского поразила неожиданная догадка. – Из какой ты квартиры?

– Из третьей. – Девочка рассматривала его все так же

недобро и... высокомерно.

– Значит, Владимир Дмитриевич – твой папа?

– Да.

– А где же он?

– Не знаю.

– Он пропал?

– Да... – Мозаичные большие глаза смотрели уже несколько мягче. Придя к какому-то выводу относительно Вадима, девочка наконец проговорила: – Его вчера увезли какие-то люди.

– И ты не догадываешься, какие и куда?

– Может быть, догадываюсь. А вы... – Взгляд стал испытующим. – За кого вы?

– За царя и Отечество. – Голос Вишневого прозвучал серьезно: каким-то внутренним чутьем ему удалось отгадать, чего ждал от него этот странный ребенок.

– Папу арестовали.

– Тебя, кажется, зовут Таней? – неожиданно вспомнил Вадим, на днях слышавший краем уха кое-что об инженерере Баскакове.

– Чаще меня зовут Тутти.

– Послушай, Тутти, тебе нельзя оставаться здесь. Я должен спрятать тебя в более безопасном месте. Мы постараемся освободить твоего папу, но сейчас тебе надо отсюда бежать.

– Хорошо. Но мне нужно кое-что взять.

Теперь, выяснив, что Баскаков арестован, Вишневецкий понимал, что минутное промедление в этом месте может оказаться гибельным, а подниматься в квартиру по меньшей мере безумие.

– Пойдем, только очень быстро!

Они поднялись по лестнице и вошли в квартиру, которую Тутти отперла своим ключом.

Вадим знал, *что* именно толкнуло его пойти на опрометчивый шаг, знал острее, чем мог бы выразить словами. Этот ребенок еще был связан со своим домом.

И сейчас эта связь порвется. Еще одну легкую былинку сорвет с места и неизвестно куда понесет по волнам людского моря...

Последний раз повесив шубку и сняв шапочку (у нее оказались прямые каштановые волосы, подстриженные как у маленького пажа на картинке из детской книжки), Тутти в сером пуловере и клетчатой юбочке (сейчас Вадим заметил, что ее высокие ботинки зашнурованы не очень умело) легко двигалась по квартире, что-то собирая, укладывая, завораживая, тоненькая и гибкая, как ореховый прутик...

Квартира инженера Баскакова поражала тягостным контрастом атмосферы спокойного комфорта с явными следами недавнего вторжения. Паркет истоптан сапогами, ящики выдвинуты, в кабинете, как видно было Вадиму через распахнутые двери гостиной, обставленной красной ампирной мебелью, пол вокруг стола завален ворохами бумаг.

«Нет, скорее она походит не на пажа, а на принца. Эта необычная для такого возраста нарочитость в манере держать голову, в жестах, в движениях... Но нарочитость, уже настолько въевшаяся в натуру, что стала почти естественной. Очень странный ребенок».

Вадим прошел вслед за Тутти в другую комнату, явно принадлежавшую ей, со множеством разноцветных детских книг в шкафу, с большим количеством игрушек, среди которых выделялся усевшийся на кресле в углу потрепанный плюшевый медведь невероятных размеров, с маленьким столом, по которому были разбросаны тетрадки – трогательные тетрадки, исписанные круглым детским почерком, испещренные кляксами с сочинениями, изложениями, хриями³¹...

– Вот. – Девочка сняла с полки очень потрепанную книгу. – Ее непременно надо взять.

«Принц и нищий» – разглядел обложку Вадим.

– Тебе, вероятно, нравится Эдуард, принц Уэльский?

– Эдуард, принц Уэльский – это я, – отрезала девочка, укладывая книгу в маленький саквояж.

«Теперь многое понятно. Эта потрясающая детская способность отождествлять себя с литературными героями – иногда она, так или иначе, оформляет характер на всю жизнь. Как у Юрия, когда он, немногим постарше, отождествлял себя с Атосом у Дюма. И все мы верили в это, словно в тринадцатилетнем мальчике

³¹ *Хрия* – разновидность небольшого письменного упражнения по литературе.

на самом деле проступали черты пресыщенного жизнью бретера... Не потому ли они так быстро проявились в жизни?»

– Тутти, дольше оставаться нельзя!

– Идем.

Девочка заперла квартиру и положила в карман шубки ключ – как будто это имело какой-то смысл.

Спускаясь по лестнице, Вадим почувствовал, что нервы неожиданно начинают сдавать: он невольно схватил девочку за руку и ускорил шаги.

Отойдя от опасного дома достаточно далеко, Вадим ощутил, как нервный спазм, сжавший сердце, когда они шли через двор, постепенно ослабевает. Не выпуская маленькой руки Тутти, он шел, не замечая, что за каждый его шаг ребенку приходится пробегать полных два. Тутти, выскочившая из брони настороженного недоверия, не переставая, говорила на ходу. Из сбивчивого ее рассказа Вадим узнал следующее...

Ей действительно девять, даже девять с половиной лет. В гимназии она не училась: в революцию ей было только семь, последние два года отец занимался с ней сам. До семнадцатого года они жили в Москве, где Тутти и родилась. В столицу Баскаков переехал из-за каких-то деловых обстоятельств, ребенку, разумеется, представляющихся довольно туманными. Город ей не нравился: «Москва – сказочнее, а он какой-то скучный». Поселились они сразу на этой квартире:

«Я, папа и Глаша – femme de chambre³²» (Вадим невольно отметил безупречное произношение девочки). А вчера утром приехал «большой черный автомобиль, похожий на навозного жука, а из него вылезли люди с пистолетами и ружьями, тоже в черных кожаных куртках – как жуки... Они все начали перерывать, а Глаша почему-то их знала... и показывала где... Она шпионка, да? А папа сказал: „Тутти, иди к себе...“ – это они его уже вытаскивали в переднюю, а я за ним побежала, а он говорит: „Иди к себе, я скоро вернусь...“ Но это он так говорил... И жуки с ним уехали. А Глаша тоже делась куда-то... и с ней всякие вещи пропали. А еще там...»

Они подходили уже к дому на Богородской улице. Вишневский позвонил условленной «семеркой» Морзе – два длинных и три коротких звонка.

Загремели засовы – узкая дверь черного хода отворилась.

При виде Вадима с ребенком, словно явившимся из прошлого, Некрасов не изменился в лице, но по неувловимому движению бровей Вишневский понял, что он немало удивлен.

Юрий запер дверь.

– Инженер Баскаков вчера арестован, – отрубил Вадим, когда они вошли с полутемной лестницы в переднюю. – Познакомься, его дочь Татьяна Владимировна.

Вадим, по-взрослому представляя Тутти Некрасову, понимал, что представить ее иначе было нельзя: маленькое

³² Горничная (фр.).

это существо каким-то неуловимым магнетизмом заставляло очень считаться с собой.

– Рад. Был бы рад еще больше, если бы наше знакомство состоялось при более счастливых обстоятельствах. – Юрий щелкнул каблуками. – Штабс-капитан Юрий Некрасов!

– Тутти. – Девочка протянула Некрасову маленькую руку.

8

– У аппарата! Ну? Плохо, очень плохо. Еще одна такая «ошибочка», Ющенко, и я с тобой местами не поменяюсь. Всё! – Закачалась брошенная на рычаг трубка.

– Ты что, товарищ Петерс, шумишь?

– А-а, Блюмкин... Напортачили ребята. Ты садись, я с этим кончу сейчас. – Зампред ткнул в каменный подоконник «козьей ножкой». – По делу с инженером... Самого взяли, а дочь, девять лет, изволь любоваться, оставили. Я распорядился – да не тут-то было: птичка упорхнула. Обшарили знакомых – ни следа! По-твоему, о чем это говорит?

– Ясно о чем – спрятали.

– А мы – прошляпили.

– Да уж... не сама же она испарилась! Давай-ка с твоими бумагами.

– У тебя там на допрос кто-то.

– А-а... подождет. Этого вообще скоро к тебе. Кстати, насчет этих дел: чтобы ты мне кончал из гаража театр устраивать! Думаешь, не знаю? Знаю. Только зрители тут ни к чему. Ясно?

– Ладно тебе, товарищ Петерс.

– А вообще, слушай, пошли-ка перекусим чего...

Двое прошли мимо Сережи, слышавшего весь разговор через неплотно прикрытую дверь кабинета зампреда. Собе-

седник Петерса, щуплый, с непропорционально узкими для высокого роста плечами, рядом с коренастой фигурой зампреда показавшийся Сереже похожим на огромную черную цаплю, представлял собой характерный тип молодого еврея, даже немного карикатурный. Перед тем как выйти, он приветственно кивнул секретарю у окна, только что вошедшему в «предбанник» и с ходу усевшемуся за машинку.

Сережа закрыл глаза. «Ремингтон» у окна продолжал стучать. Господи, если бы не этот треск... если бы не он... можно было бы представить себе, что в этом их «предбаннике» никого нет. Да весь остаток жизни не жаль сейчас отдать за то, чтобы пять минут, минуту побыть одному... Остаток жизни? Да разве его можно сравнить с невозможным счастьем минуты одиночества?

– Слушай, парень, здесь Чека или бордель, в конце-то концов?!

Сочный, наполненный бодрой жизненной силой голос заставил Сережу вздрогнуть. Расслабившееся было тело мгновенно подобралось. Он открыл глаза и взглянул на шумно распахнувшуюся дверь. В ней, едва не загорая живая массивными плечами весь проем, стоял, словно воплощение животной мощи, высокий человек лет двадцати пяти. Правильно слепленные, крупные черты его лица дышали примитивной жизнерадостностью. Сережу передернуло.

– Тут, между прочим, кабинет зампреда. – Стук «ремингтона» снова сделался равномерным.

– А я думал – актрискин будуар. – Вошедший, ссутулясь, чуть покачнулся в дверях уже виденной Сережей блатной раскачкой, не вынимая рук из карманов потрепанных клёшей. – Ну, поверил, ладно. Только зампредов кабинет без зампреда мне вроде ни к чему. Битый час его по вашей богадельне ищу. Говорил ведь, не связывайтесь с бэками: такого «революционного порядка» налопаемся, какого и у себя не видали, ядреный корень...

– По какому вопросу?

– Стану я тебе, шестерке малолетней, докладывать, по каким вопросам ваш ЦИК из Москвы анархистов-боевиков приглашает? – Вошедший снял с плеча куртку и метко швырнул ее на подоконник прямо через голову секретаря. – Вот ведь повадились, черти, чужими руками жар загребать! Раньше хоть Коба³³ был не промах... Да хрен с вами, мы не в обиде, но гребешь – так изволь уважать, ясно? Мало что переться сюда неделю, так приходишь – никто ни хрена не знает, никого нигде нет.

– Товарищ зампред сейчас будет, – поспешно и словно с некоторой опаской проговорил давно убравший руки с клавишей секретарь.

– А черт с ним! Мне с дороги отдохнуть надо, устал как свинья. – Анархист, широко распахнув обе створки дверей «предбанника», бесцеремонно уселся за столом Петерса.

³³ *Коба* – одна из партийных кличек И. В. Сталина, бывшего к моменту действия романа членом Бюро ЦК РСДРП(б).

Сергея снова закрыл глаза, но уже не затем, чтобы воспользоваться минутой передышки – она была невозвратно украдена у него этим шумным вторжением, а просто для того, чтобы не видеть этого отвратительного жизнерадостного лица.

– Сунулся тут в дверь, какая-то дура ордера в общежитие не выписывает... Иди, мол, в десятую, а потом на первый этаж, а потом обратно... Нашла, коза драная, мальчика бегать. Короче, так: сперва по-быстрому оформи мне ордерок, потом соединишься с ЦИКом – от анархистской, мол, фракции товарищ прибыл, чтобы завтра пропуск выписали. А кроме этого, по телефону ни слова, уразумел? И к Зиновьеву³⁴, и к Кобе. А я жду Петерса тут, кстати, с ордерком меня у входа подождешь, здесь ты не нужен. Разговор интимный, деликатный...

– Момент! – Молодой человек торопливо вскочил. – Арестованного вывести?

– Боишься, что на свободе разболтает? – Оба собеседника рассмеялись. – Без тебя разберусь. Это, что ли, конвой вызывать?

– Да-да!

Дверь захлопнулась. По крайней мере сейчас прекратятся режущие по нервам звуки человеческого голоса. Особен-

³⁴ *Зиновьев* Г. Е. – российский революционер, советский политический и государственный деятель. На момент описанных в романе событий был членом Петроградского совета.

но такого голоса... Какой-то живой символ победно шагающего хама, не способного даже постичь, что он уничтожает на своем пути... А какая-то новая боль. Раньше надо было анатомию изучать, прапорщик. Прапорщик... Прапор... Сине-пурпуровый прапор Альмансора... Женька... Альмансор... Дачное прозвище... Брат мой, мы волею судеб служим разным знаменам. Нет, Женька, такое бывает только в романах... Опомнитесь, прапорщик, а ведь это бред... Сейчас... сейчас... Только немножко моря...

– Ржевский! – Энергичное прикосновение опущенной на плечо руки заставило Сережу дернуться: в глаза ему смотрели серо-голубые, очень спокойные глаза анархиста. – Руки-ноги целы?

– Я вас не понимаю.

– Соображай быстрее, секунды на счету! Поведут с допроса – третье окно слева по коридору, на подоконник и вниз, секунда – пока обалдеют, секунда – пока целятся. Хватит силы вскочить? Тогда я остаюсь беседовать с Петерсом, нет – придется сложнее... Ну, вскочишь?

– Я предпочитаю остаться тут.

– Жаль приятной компании?

– Согласитесь... значительно правдоподобнее предположить, – с трудом выговаривая слова, негромко ответил Сережа, – что этот побег... инсценирован.

– Черт, нашел время и место! – Лицо неожиданного избавителя, ничуть не изменившееся в чертах, но неузнаваемое в

новом, стремительно собранном выражении, залилось краской гнева. – Силой прикажете вас умыкать, как юную деву из отеческого замка? – Рука на плече стиснула его и встряхнула с такой отдавшейся во всем ноющем теле силой и злостью, словно именно этим движением он хотел выбить Сережино сопротивление. – Je suis Votre supérieur hiérarchique, nom de chien, faites ce qu'on Vous dit!³⁵

Скорее даже не безупречная чистота носового звука вынудила Сережу поверить в это неожиданное превращение. Его взгляд, случайно скользнувший по другой руке все еще сомнительного избавителя, невольно задержался на простом, ничем не примечательном золотом кольце. По краю кольца шел узкий стальной ободок. Это был памятный знак выпускника Пажеского корпуса. Кольцо могло быть снято анархистом с кого угодно. Нет, видно, что оно вросло в палец... Эта разработанная за тяжелые военные годы сильная рука еще позволяла своей формой угадать в ней изящную руку шестнадцатилетнего юноши. Человек этот действительно был выпускником корпуса. Мысль сбилась куда-то в сторону – совсем недавно довелось видеть такое же... У кого? Нет, постойте, прапорщик, вот он, найденный конец мысли...

– Vous m'avez convaïcu que Vous menez un jeu. Mais qui bat les cartes?³⁶

– Черт, вот ведь свалился на мою голову! – Незнакомец

³⁵ Я старше, к чертям собачьим, делайте, что сказано! (*фр.*)

³⁶ Вы меня убедили, что ведете игру. Но кто сдает карты? (*фр.*)

неожиданно широко улыбнулся. – Пута́й ты «генералов с кардиналами» сколько влезет, но изволь уж как-нибудь отличать белое от красного!

Господи, так вот же на ком последний раз он видел такое кольцо! Перед Сережей на долю мгновения возникло лицо всегда щеголевато-подтянутого штабс-капитана Задонского – личного адъютанта Николая Николаевича, его рука с точно таким же кольцом, отводящая шторку с задернутой карты: «Гатчина, ваше высокопревосходительство».

– Задонский! Это только он мог разболтать! – Сережа, чуть запрокинув голову, негромко засмеялся по-настоящему веселым смехом, до жути неуместно прозвучавшим в стенах «предбанника».

– И кстати, *au cours du jeu*³⁷. Так-то лучше. Ну?

– Я в состоянии.

– *Et bien*³⁸, – сквозь зубы процедил незнакомец.

Сережу поразила происшедшая на его глазах метаморфоза: шокировавшая его животная мощь приблатненного парня в мгновение ока обернулась породистой, пока еще легкой грузностью екатерининского вельможи, жизнелюба и наглеца.

– Тогда и мне засиживаться тут незачем – и так полдня глаза мозолю. Третье окно!

Незнакомец одним бесшумным прыжком отскочил от Се-

³⁷ За игрой (*фр.*).

³⁸ Хорошо (*фр.*).

режи: в «предбанник» вошел Петерс.

– Товарищ Ян?

– Он самый. От анархистской фракции. – Незнакомец обменялся с зампредом крепким рукопожатием. – Приветы из Москвы. Документики мои – вот, а звать меня можешь попросту Графом, как свои кличут.

– Как там дела идут?

– С кем сравнить. В отличие от вас драпать покуда не собираемся – и то хлеб. Ладно, о деле... В курсе уже?

– Вроде нет.

– Ладно, сейчас порасскажу, только схожу узнаю, утрясли ли с общежитием. Кстати, не до допросов. – Незнакомец кивнул из кабинета на Сережу. – Я по-быстрому!

Дверь хлопнула. Сережа услышал, как Петерс, неторопливо переложив что-то на столе, нажал тугую кнопку вызова. Минуты две – до того, как по коридору издали зазвучат шаги конвойных; еще раньше этот пажеского закала анархист выйдет из здания. Чуть замешкаешься, поднимаясь... «Господи, неужели я так хочу жить?!»

– Увести!

Сережа, сиюсь унять заколотившую его нервную дрожь, переступил порог кабинета.

Первое окно... второе окно... на третьем пили вчера чай те две девушки... как раз на нем.

Один рывок... Все тело должно уйти сейчас в этот рывок... Сейчас... нет... еще на шаг ближе...

Сейчас!

Окно рассыпалось стеклянным дождем.

Последнее, что успел ощутить Сережа, были мягко спружинившие картонные коробки, которыми был набит кузов сорвавшегося с места грузовичка.



Что это за место? Тусклый пустырь. Серая, серая даль...

Земли не видно под обломками кирпичей, обгорелыми досками, ржавым железом.

Кто этот ребенок? Девочка лет трех... Она крепко вцепилась в пальцы и тянет за собой, легко переступая с обломка доски на кирпич, с кирпича на погнутую трубу. Остов одноэтажного дома невдалеке. Нет одной, наискось рухнувшей стены. В проеме окон видно свинцовое небо.

Я не хочу идти за ней, она не понимает, что наш приход сюда кого-то тревожит.

Но девочка тянет вперед... Ей что-то нужно? Да и кого мы можем потревожить здесь, на этой бесконечной свалке?

Да, это свалка. Жестянки, пружинная ржавая рама кровати, чуть подальше – какая-то падаль со свалявшейся серой шерстью. Собака, уже наполовину истлевшая. Еще несколько шагов вглубь пустыря... Жалобный слабый писк откуда-то снизу. Кто там? Надо приподнять эту доску. Девочка пытается помочь.

Из-под серой доски ковыляет галчонок с обгорелыми крылышками. Одно из них только чуть опалено, другое наполовину сторело... Галчонок ковыляет прочь, жалобно крича, он не надеется убежать, но что-то гонит его... Куда, под чью защиту он бежит? Куда-то дальше, где валяется мертвая

собака.

О господи! Собака начинает подниматься... Ей трудно подняться: полуистлевшие лапы разъезжаются в стороны... Но что-то сильнее разложения вынуждает ее к этому мучительному усилию. Она пытается залаять, но вместо этого только клацает пастью и шипит. Кажется, она слепая. Это видно по тому, как она ворочает окостеневшей шеей, пытаюсь определить присутствие врагов... Но почему она гонит нас?!

Под этими обломками копошится множество маленьких замученных созданий, множество маленьких беззащитных существ. Она защищает их всех, хотя ей так же плохо, как им.

Но ведь мне жалко их, ведь я хочу им помочь!

Им не нужна моя помощь. Жалость и добро мучительны им, как яркий свет больному глазу, доброе и злое намерение им равно невыносимы в их крошечной муке...

Ребенок... Надо увести ребенка, скорее, пока она еще этого не поняла!

– Уйдем отсюда.

– А они так и останутся здесь? – У девочки большие, какие-то мозаичные глаза из зеленых, серых и коричневых точек. – Можно я накрошу им хлеба?

– Они не будут есть – они ведь все мертвые.

– ИХ ТАК СИЛЬНО ОБИДЕЛИ, ЧТО ОНИ НИКАК НЕ МОГУТ УМЕРЕТЬ?

...Кто это сейчас кричал? Рука в нестерпимо белой перчатке бинтов, утонувшая в свежей чистоте настоящей постели... Незнакомая комната, тепло пронизанная солнечными лучами. Жемчужно-серый гобелен: играющий на свирели пастушок, пастушка поднимает корзину с плодами... Раньше свирель иногда звучала, сейчас пастушок играет беззвучно. Этот сон уже был. Иногда в нем мелькали какие-то лица, чаще всех – лицо похожего на музыканта человека и голос Юрия Некрасова. Да, эта светлая комната уже снилась. Добрый сон.

Нет! Назад, туда... Там, под серыми досками свалки, те, кому я не мог помочь... Бессилен был помочь и поэтому ушел...

Отворяется дверь. Почему она здесь, девочка из того сна? Значит, здесь тоже есть боль. Значит, здесь можно быть.

Девочка лет десяти, с пажеской прической, в сером пуловере и клетчатой юбочке, залезла в поставленное у изголовья, рядом со столиком с лекарствами, кресло и раскрыла толстую потрепанную книгу.

Сережа попробовал приподняться на локте, но сразу упал обратно в подушки.

– Ой! – Взглянув на Сережу странного цвета мозаичными глазами, девочка уронила книгу и, вскочив, помчалась к дверям, стуча о паркет каблуками высоких ботинок...

– Дядя Юрий! Тетя Катя! Он очнулся, он очнулся... дядя

Алеша, он очнулся!

Послышались поспешные ровные шаги: в грубом некрашеном свитере, в мешковатых штанах из «чертовой кожи», в накинутой на плечи черной телогрейке, с заросшим щетиной лицом – к Сережиной кровати подошел штабс-капитан Юрий Некрасов.

– На сей раз вы не бредите, Ржевский, это действительно я. Поздравляю вас с довольно-таки благополучным возвращением с того света!

– Итак, прапорщик, если вы не устали, продолжим.

– Ничуть. – Сережа, полулежавший на диванных подушках, принял из рук Тутти граненый стаканчик с лакричной микстурой и слегка улыбнулся.

– Собственно говоря, господа, предыдущие данные Ржевского пока что всего-навсего совпадают с уже имеющимися. – Некрасов прошелся по гостиной. – Что Петерс переброшен сюда, мы уже знаем. Как, впрочем, и то, что существование Центра не составляет уже секрета для Гороховой. Какие еще фамилии вы слышали между присутствующими сотрудниками, прапорщик?

– Трудно запоминающаяся какая-то фамилия... Ах вот – Блюмкин. Входил при мне к Петерсу.

Военный инженер Алексей Никитенко присвистнул.

– Вы уверены, что не ошибаетесь? – с некоторой живостью обернувшись к Сереже, спросил Некрасов.

Сережа пожал плечами.

– Некрасов, это неправдоподобно! – с сомнением проговорил Вишневский.

– Вы можете его описать?

– Могу.

Из передней послышался звук повернувшегося в двери ключа. Прозвучали быстрые шаги, и в гостиную стреми-

тельно ворвался широкоплечий офицер лет двадцати пяти – светло-русый, кудрявый, сияющий открыто дружелюбной широкозубой улыбкой.

– Мое почтение, господа!

– Кстати, граф. Что у Неклюдова?

– А-а, наиболееполучнейше. Обручев подготовлен идеально. – Вошедший плюхнулся в кресло. – Всего-то хлопот осталось – перевесить флажки. И пожалуй, еще кое-что в дополнение к флажкам. Словом, чисто декоративная работа. Тьфу, устал. Тутти, детка, будь ангелом и швырни в меня чашкой чаю!

– С солью?

– С лягушками.

– Ты сам лягушка.

– Тогда швырни меня в чай. Только скорее. Ага, с молоком... – Подняв голову от чашки, вошедший столкнулся взглядом с Сережей, мучительно пытающимся сопоставить это неожиданно возникшее лицо с тем, смутно припоминаемым сквозь туман болезни. – Что, трудно припомнить, где это нас друг другу представили? – Офицер рассмеялся так заразительно, что Сережа, колебания которого мгновенно рассеялись, не смог не рассмеяться в ответ. – А ты меньше похож на покойника, чем в последнюю встречу. Граф Платон Зубов.

– Я рад. Мне представляться уже излишне?

– Ладно, господа, к делу, – сухогато заметил Некрасов.

– Ярко выраженный тип семита, – с расстановкой заговорил Сережа. – Что еще?.. Впалая грудь, узкие плечи, покатые, средний рост, худ...

– Странно, похоже на то.

– Что похоже?

– Блюмкин в Чеке.

– Он-он! – почти радостно воскликнул Зубов. – Да что вы его спрашиваете – был у него досуг для наблюдений! Вы меня спросите – сам видел, сразу узнал. – Отставив чашку, недавний Сережин спаситель хлопнул приставленными к ушам ладонями. – Ушастый такой еврейский парнишка!

– Неужели – альянс с эсе-е-рами? – обращаясь к Некрасову, с сомнением протянул Вадим.

– Если так, – усмехнулся Никитенко, – мы разумно не стали делать на них ставку после того, как не разлей вода друзья-большевики поприветствовали их на съезде пулеметами. А было заманчиво.

– Было глупо не воспользоваться благоприятной ситуацией, – хмуро отрезал Некрасов.

– Кроме того, подобный расклад и сейчас сомнителен. После съезда-то... – Вишневский негромко рассмеялся. – Более остросюжетной комедии стены Большого театра, сдаётся мне, допрежь не видали. Кто помнит? Большевиков просят выйти в фойе для обсуждения внутрифракционных вопросов. Через час в фойе высовываются недоумевающие эсеры и обнаруживают, что «внутрифракционные вопросы» обер-

нулись расстановкой пулеметов.

– Нет, появление Блюмкина, при условии, простите, Зубов, что это на самом деле Блюмкин, скорее случай, чем указание на альянс между большевиками и эсерами. Во всяком случае, ввиду предстоящего мятежа я с вверенными мне силами не намерен уклоняться от сотрудничества.

– Да и не могли же они так скоро позабыть расстрел Александровича³⁹. Это своего рода гарантия их искренности.

– Ох и черт все дери – прямо как в родимом корпусе! – вскакывая с места, взорвался Зубов. – Господа высоколобые, да сойдите же вы с академических высот на брэнную-то землю! Когда ж до вас дойдет наконец, что мы уже третий год как вступили в войну, где вся этика летит к чертовой бабушке! Это вам не германская! В шашки хотите играть по шахматным правилам и думаете, с рук сойдет? Нам, прости господи, противничек достался без рыцарских предрассудков... У них своя логика – и логика эта, если хотите, Некрасов, это простейшая логика преступного мира. Да и Чека – та же малина. Все просто, как апельсин. Каторжная связь для блаतरей не помеха резать своих – вот ваш съезд! – а резня не

³⁹ Александрович В. А. (Дмитриевский П. А., 1884–1918) – чекист, расстрелян после подавления вооруженного восстания левых эсеров против большевиков в июле 1918 г. вместе с 12 другими организаторами. До сих пор остается загадкой, почему при этом не понесли никакого наказания ни чекист Я. Г. Блюмкин, деяние которого – убийство германского посла – послужило сигналом к началу восстания, ни Ф. Э. Дзержинский, в течение всех этих событий находившийся в штабе восставших – Трехсвятительском переулке в Москве.

помеха служить пахану, который силен. обида за товарищей тут весьма слабая. Обижаться на сильного не в блатной логике. И круговая порука. Взять хоть роль Посполитой Мумии⁴⁰ во время пресловутого мятежа, от которого мы что-то нынче никак не отстанем... Форменный адюльтер! Эта воистину полезная особа работала одновременно и на мужа и на любовника, но суть скандальчика не в этом, а в том, что была у любовника, то бишь в Трехсвятительском переулке в штабе эсеров, публично накрыта! В то время как Картавец⁴¹ судорожно расшаркивался в германском посольстве, уверяя в оной особы архиневиновности...

– Видите ли, прапорщик, – случайно поймав недоумевающий Сережин взгляд, пояснил Никитенко, – у Блюмкина при убийстве графа Мирбаха было при себе письменное благословение Дзержинского на сию акцию. Этот факт выплыл, и скомпрометированный Дзержинский вынужден был на полгода уступить Петерсу пост председателя ВЧК.

– А потом преблагополучно на него вернуться! И Блюмкин вернулся – с какой стати отказываться от такого ловкача в грязных делишках? Да большевики ради общего блага родную мать стрескают, как фаршированную щуку! Черт их разберет, когда они вместе, когда врозь... Я бы на праведный гнев эсеров ставить не стал.

– А кто этот Блюмкин? – спросил Сережа, припоминая

⁴⁰ Прозвище Ф. Э. Дзержинского.

⁴¹ Прозвище В. Ульянова-Ленина.

похожую на цаплю фигуру человека в черном.

– Кровавый шут, – пожав плечами, ответил Вишнеvский. – Отирается в литературных кругах.

– А-а, позер и истерик, как все блатары и товарищи. Водит смотреть на расстрелы любопытных дамочек и поэта Есенина. Как-то хвастался перед Мандельштамом пачечкой ордерочков на арест и на расстрел. Чин чином оформленная толстая пачка ордеров, только одна графа не заполнена – фамилия жертвы⁴². Но представьте, – Зубов одобрительно рассмеялся, – этот шпак чуть ли не морду ему бить кинулся! Вырвал эти ордера у Яшки, стал топтать ногами... Даже жаловаться куда-то ходил. Глупо, конечно, у них же рука руку моет – опять логика блатных.

– Прапорщик, вы можете отдыхать. На будущей неделе, господа, надо выходить на связь с эсерами – и мы таки на нее выйдем. Вы перегибаете палку, граф. Необходимо использовать все, что у нас есть.

«Господи, как странны эти разговоры, эти просчеты вариантов, с кем и против кого, – подумал, откидываясь на плюшевые подушки, Сережа, внезапно ощутив усталость. – Насколько проще на передовой».

⁴² Историки давно уже доказали, что *carte blanche* – бумага, позволявшая расправу по произволу, была клеветой на французских королей, одной из многих клевет, что подготавливали революцию во Франции. Однако именно революционеры, дорвавшись до власти, воплощали свои клеветы наяву. История про увиденное поэтом Осипом Мандельштамом реальна.

– Сережа... ты почему даже дома не снимаешь перчаток?

– Так. – Сережа с непокрытой головой (отросшие волосы трепал ветерок солнечного, по-питерски холодного майского дня – последний раз привелось побывать в парикмахерской еще в Эстонии), в расстегнутой куртке из «чертовой кожи», шел рядом с Тутти по почти безлюдной улице.

– Сережа, а я видела... – Тутти, уставая от медленной походки слишком еще слабого своего спутника, то вприпрыжку забегала вперед, то отскакивала назад.

– Что ты там еще видела?

– Твои руки. Когда ты еще лежал совсем больной.

Сережа поморщился.

– Вот я и не хочу, чтобы ты их еще раз увидела. Да, пожалуйста, и сам я не очень рвусь их все время видеть.

– Ну что же ты так и будешь всегда в перчатках?

– Да нет, не всегда... – Сережа негромко засмеялся. – Месяца три, может быть, меньше.

Мимо них с грохотом проехал грузовик с открытым кузовом, в котором стояли молодые красноармейцы с винтовками.

«Мобилизованные – только-только с какого-нибудь завода... А забавно прогуливаться вот так в центре занятого врагом города. Ведь я же сейчас действительно

прогуливаюсь. Дышу воздухом».

«Не хорохорьтесь, Ржевский, вы слабы, как котенок», – сказал вечером Алексей Никитенко.

«Да, прапорщик, – подал голос молчаливо куривший в кресле у окна Некрасов. – Ваши обязанности, несомненно, сводятся сейчас к отдыху, прогулкам и сну. А далее будет видно, отправлять ли вас долечиваться к нашим дорогим заграничным друзьям».

«Надеюсь, что этого не понадобится, г-н штабс-капитан».

– Сережа, смотри, там что-то повесили и народ собирается. – Тутти тянула Сережу к небольшой, все увеличивающейся кучке народу посреди сквера.

Заметив в толпе светловолосую девушку из ЧК, одетую все в ту же лихо перепоясанную кожанку, Сережа остановился было, но, вспомнив невидящий взгляд скользнувших по нему глаз, начал пробираться ближе к объявлению.

Лист желтовато-серой грубой бумаги был криво прилепан на старую афишную тумбу, еще извещавшую о последнем концерте Шаляпина, и сам казался жутковатой афишей нелепого, фантастического фарса...

БЕРЕГИТЕСЬ ШПИОНОВ!

СМЕРТЬ ШПИОНАМ!

НАСТУПЛЕНИЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ НА ПЕТРОГРАД С ОЧЕВИДНОСТЬЮ ПОКАЗАЛО, ЧТО ВО ВСЕЙ ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ, В КАЖДОМ КРУПНОМ ГОРОДЕ, У БЕЛЫХ ЕСТЬ ШИРОКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ШПИОНАЖА, ПРЕДАТЕЛЬСТВА, ВЗРЫВА МОСТОВ, УСТРОЙСТВА ВОССТАНИЙ В ТЫЛУ, УБИЙСТВА КОММУНИСТОВ И ВЫДАЮЩИХСЯ ЧЛЕНОВ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ПОСТУ.

ВЕЗДЕ УДВОИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ, ОБДУМАТЬ И ПРОВЕСТИ САМЫМ СТРОГИМ ОБРАЗОМ РЯД МЕР ПО ВЫСЛЕЖИВАНИЮ ШПИОНОВ И БЕЛЫХ ЗАГОВОРЩИКОВ И ПО ПОИМКЕ ИХ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ РАБОТНИКИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ВО ВСЕХ БЕЗ ИЗЪЯТИЯ ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ В ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАНЫ УДВОИТЬ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ВСЕ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ГРУДЬЮ НА ЗАЩИТУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, ДОЛЖНЫ ПОДНЯТЬСЯ НА БОРЬБУ Со ШПИОНАМИ И БЕЛОГВАРДЕЙСКИМИ

ПРЕДАТЕЛЯМИ. КАЖДЫЙ ПУСТЬ БУДЕТ НА СТОРОЖЕВОМ ПОСТУ – В НЕПРЕРЫВНОЙ, ПО-ВОЕННОМУ ОРГАНИЗОВАННОЙ СВЯЗИ С КОМИТЕТАМИ ПАРТИИ, С ЧК, С НАДЕЖНЕЙШИМИ, С ОПЫТНЕЙШИМИ ТОВАРИЩАМИ ИЗ СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ.

*ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАБОЧЕ-
КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБОРОНЫ В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)
НАРКОМВНУДЕЛ Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ*⁴³

Прочитывая воззвание, люди расходились молча, не обсуждая и не высказываясь. Сережа взглянул на напряженное личико Тутти: губы девочки шевелились, глаза горели – казалось, она пожирала ими зловещие буквы.

⁴³ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. с. 399.

Из столовой доносились взрывы самозабвенного смеха: хохотали Зубов и Тутти. Открывшееся зрелище не доставило Некрасову особого удовольствия: посреди стола на забрызганной водой скатерти, в тарелке кузнецовского фарфора, плавало несколько парусных корабликов из картона и скорлупы грецких орехов. Один из корабликов горел. Тутти, упираясь ботинками в обивку стула и локтями полулежа на столе, дула на бумажные паруса кораблика, то и дело прерываясь для того, чтобы разразиться новым припадком хохота.

Сережа, чистивший рядом разобранный на куске сукна наган, негромко разговаривал о чем-то с расхаживающим у камина подпоручиком Стеничем, одновременно с интересом поглядывая за ходом водной баталии.

– Нет уж, ты мне не крути – капитан у тебя в стельку...

– Ничего не в стельку... Это нарочно!

– Кормой вперед плыть – нарочно?! В стельку, в стельку...

– Что до меня, – Сережа, явно продолжая спор, обернувшись к Стеничу, – то мне трудно поверить, что такой Петроний, Петроний – эстет, на самом деле существовал. Римский вельможа времен империи – такой же раб, как его собственные рабы. Без личной свободы нельзя быть эстетом.

– Ну, не знаю... По-моему, эстет прежде всего ценит красоту. А в ужасных деяниях Нерона есть какая-то жуткая кра-

сота... Свирепое величие разнузданного желания, которое все сокрушает на своем пути...

– Тогда у наших отечественных нижегородских купчишек ничуть не меньше свирепого величия, чем у Нерона. – В го- лосе Сережи прозвучало раздражение. – Чем поджог ресто- рации хуже пожара Рима? Общий принцип – не препятствуй моему ндраву.

– Вы все передергиваете, Ржевский! Тут другой размах...

– Вот как? Тогда купец Петров, который спьяну подпалил целый ресторан, вдвое ближе к критерию эстетического, чем купец Сидоров, который только закуривает сторублевками. А я подобрал бы для этого «свирепого величия» несколько иное название...

– А я уверен, что Петроний...

– Ох, развели философии – хоть топись! В этой самой та- релке. Эй, по рукам за такие штучки! И вообще, Тутти, с тобой мне только чертеночка-младенца не хватает с такими вот рожками... – Зубов сделал соответствующий жест.

Тутти восхищенно фыркнула.

– Вам не кажется, граф, – с неудовольствием взглянув на Тутти, сухо заметил Некрасов, – что вы иногда слишком да- леко заходите в своей роли анархиста?

– Ну, дальше, чем мой предок, я не зайду. – Зубов с явным удовольствием перевернул догорающий кораблик. – Правда, тот захаживал аж в опочивальню к матушке Екатерине Ве- ликой.

– Comte⁴⁴, я еще раз обращаю ваше внимание на то, что вы находитесь в обществе ребенка. – Голос Некрасова стал ледяным.

– То-то и оно! – Зубов возмущенно сорвался из-за стола. – Самая уместная компания! Почему я впрямь не анархист?!

– Вот и поразмыслите покуда над этим. А согласия на предложенную вами авантюру я не даю.

– Нет, Некрасов, я не за этим. – В манере Зубова проступила подтянутая собранность. – Я только что от Люндеквиста⁴⁵.

– Пройдемте ко мне в кабинет.

Пройдя в небольшую, в одно окно, комнату, служившую ему кабинетом, Некрасов сдвинул со стола бумаги и демонстративно остался на ногах, пока Зубов, со сдержанным кивком благодарности, не сел первым. Теперь, когда Некрасов и Зубов находились наедине, в их подчеркнутой любезности друг к другу явственно проступала застарелая нелюбовь между «николаевцами» и «пажами».

– Итак?

– Новая партия оружия через границу. Завтра. Люндеквист требует от вас десять человек, ни одним меньше.

– Однако, черт возьми! – Некрасов нахмурился. – Вы – в моем распоряжении?

⁴⁴ Граф (фр.).

⁴⁵ Люндеквист В. Я. (1884–1920) – российский военный, полковник, один из руководителей антисоветского подполья в Петрограде в 1918–1919 гг.

– Нет. Я сегодня же отправляюсь в Красную Горку и поступаю в распоряжение Неклюдова вплоть до мятежа. Десять, не считая меня.

– Это вообще все, что я могу предоставить. А у меня завтра randevu с эсерами. Впрочем, – по тону Некрасова было заметно, что ему не очень приятно найденное решение, – если с инструкциями от и до, то к эсерам можно отправить и Ржевского. Не к границе же его брать.

– Почему бы и нет? Знаете, Некрасов, – Зубов почти дружелюбно рассмеялся, – уж на что я не любитель этой публики, которая никогда не нашивала мундиров от Норденштрема и шпор от Савельева, но Ржевский мне по душе. Есть в нем тот еще стерженек, хоть и молокосос. В жизни такого бешеного не встречал! Упирался руками и ногами, когда я его из Чрезвычайки выволакивал – другой бы кто черту душу продал, чтобы оттуда вырваться. Только тем и убедил, что анекдотец из его собственного каррикулом витэ⁴⁶ ему напомнил. Так он – на анекдотец-то – возьми и засмейся. На Гороховой и в его положении, извините, чувства юмора не потерять? Не так уж плохо для некадрового.

– Я принципиально против некадровых в подполье, – недовольно возразил Некрасов. – Дело тут не в храбрости, а в дисциплине. Насколько я успел узнать Ржевского, он вообще не имеет представления о том, что это такое. Такие, как он, еще неплохи на фронте, но здесь... Честно говоря,

⁴⁶ Биография (искаж. лат.).

я оставил его только потому, что переброска ввиду наступления работает в основном на вход, а на выход – только в случае крайней необходимости. Мне вообще не хотелось его использовать до большой стрельбы. Ну да ладно – все равно больше некого. Пойдет к эсерам.

– Стало быть, до заварухи? – Зубов, из-за штатского наряда, отвесил Некрасову светски легкий поклон, контрастировавший с простоватой развязностью его слов.

Через мгновение до Юрия донесся его громкий, чуть грасирующий, полный радостной жизни голос:

– Счастливо оставаться, господа! Тутти, ангел, вернись – всенепременнейше доиграем!

– Слушай, ты всегда такой вежливенький? – Зубов шагал широко и стремительно, однако что-то в его походке неволь-но наводило на мысль о том, что он должен очень легко вальсировать или танцевать мазурку. – Стенич – славный малый, но бывает иногда ослом. Когда он лез к тебе с философией, ты больше всего хотел послать его к... матери вместе со всем нероновским Римом. Потому, что плевать тебе сейчас на античную историю. Тебе же одного хочется – молчать. И чтобы к тебе обращались только по делу. Скажешь – не так? *Est-ce que ça te gêne si je te tutoie?*⁴⁷

– *Ça va.* – Сережа поддал ногой отвалившийся с како-го-то фасада завиток лепнины. – *Pour un anarchiste. Quant à l'histoire ancienne... Je préfère que les autres ignorent mes sentiments... Toi suffit*⁴⁸.

– Ну и паскудное же у тебя произношение!

– Не страдаю насморком.

– Видал я пижонов, но таких, как ты, не доводилось даже среди наших высоколобых.

– Я возрос в либерализме.

– Заметно, иначе не был бы таким снобом. Тебя хоть раз

⁴⁷ Кстати, ничего что я «тыкаю»? (*фр.*).

⁴⁸ Сойдет для анархиста. А что до древней истории... Предпочитаю, чтобы дру-гие не замечали моих чувств... хватит и тебя (*фр.*).

секли в детстве?

– Нет, конечно! – Сережа засмеялся. – когда мы с братцем дрались, только растаскивали по разным комнатам.

– У тебя один брат?

– Да, был. Женька. Погиб в восемнадцатом.

– Я тоже рос вдвоем с братом. Он умер за год до войны, в Биаррице. Легкие. Только нас по комнатам не растаскивали. – Зубов улыбнулся. – Помню, мы как-то с Лёнькой сцепились на теннисной площадке... Новенькая такая была площадка, недавно красным выложили – отец грунтовальщиков из Англии выписывал, вокруг кусты сирени... Ох и катались мы по этой площадке! Четыре часа кряду дрались. Только как-то упустили из виду, что этот новый корт с открытой веранды был виден, как арена в античном амфитеатре.

А на веранде, по случаю приятственной погоды, отец со своим кузеном, дядей Костей, разбирали какие-то свои министерские бумаги... Не считая маменьки, которая ввиду буколической атмосферы им собственными ручками подавала кофей. Дядя Костя голову от бумаг поднимет, взглянет: «А не впустую я Леониду бокс показывал». Отец не поворачиваясь: «Что, всё дерутся?» – «Дерутся». – «Надо же!» – и опять за бумаги.

– Я бы сказал, что либеральнее жилось тебе.

– Черта с два! Я как-то отцовские часы раздраконил, александровские такие, с боем и амурчиками... Разбирал я один, Лёнька с кузенами только любовались. А высекли всех четы-

рех – за милую душу. А уж корпус... Карцер – это тебе не «по разным комнатам», про дранье я не говорю, дранье по сравнению с цугом – сушая ерунденция.

– С чем?

– Цугом. Жаргонное словечко. Это когда тебя будят часа в три ночи и заставляют говорить таблицу умножения на девять.

– Я бы не стал.

– А «темную» не хочешь? Причем заметить, «темная» – это далеко не самое унижительное из всего, что с тобой могут сделать за посягновеньице на освященную традицию: «зеленый» делает все, что «соленый» прикажет, – хоть кукарекай. Другие «зеленые» тебя тоже не защитят, кстати. Что б ты один сделал против всего дортуара?

– Револьвер бы вытащил. Сразу за предложением умножать среди ночи.

– И палить бы начал? – с подчеркнутым любопытством поинтересовался Зубов.

– Не знаю... – смутившийся было Сережа широко улыбнулся, поймав во взгляде Зубова явную насмешку. – Может, и ответил бы. Знаешь как? – Сережа вытянулся во фронт. – Единожды Зубов – дурак, дважды Зубов – два дурака, трижды Зубов – десять дураков...

– Почему это десять?! – Громкий смех двоих молодых офицеров далеко разносился по пустынной улице.

– А по моей таблице. Граф, с вами истерика? Воды, ню-

хательную соль?!

– Нек-ра-сов!..

– Что – Некрасов?!

– Некрасов... Ты только и делаешь, что ему отвечаешь свою таблицу... – Зубов, продолжая хохотать, взлохматил рукой Сережину шевелюру. – Шпак ты несчастный!

– Почему это – шпак? – Сережа резко остановился и взглянул на Зубова, недобро суживая глаза. – Убийца не хуже тебя.

– Хуже. – Зубов тяжело посмотрел на Сережу. – Убийца из тебя куда хуже. И не лезь равняться.

– Слушай, а иди ты!..

– Брось, я прав. – Лицо Зубова сделалось надменным и жестоким. – А теперь слушай меня. И все, что я сейчас скажу, вбей в свою упрямую башку. Перестань грызть себя поедом. Дался живьем, не уничтожил документов – не лучше ли пустить пулю в лоб? Смерть для недоноска. Пойми ты, офицерами не рождаются, а становятся – и не в момент производства в чин. Ты сейчас на рожон полезешь, но я знаю, что говорю: в тебе еще нету настоящего чувства офицерской чести. Бывает безупречность, которая не стоит гроша, – та, что существует до первой ошибки. Эдакая девственная пленочка на душе. И первая ошибка ее рвет, больно рвет, как ты мог заметить. И тогда это должно преодолеть. Пойми: ты еще не имеешь права судить себя мериллом чести русского офицера. Офицер должен быть безупречен – и к тебе это придет.

И знаешь, что изменится тогда? Станут невозможными гамлетовские терзания. Просто ты всегда будешь знать, надо ли пускать в лоб пулю.

– Ладно, comte. Всё сие я уж как-нибудь вколочу в свою «упрямую башку». Хотелось бы мне только знать, как ты обо всем догадался.

– Вспомнил себя на германской. – Зубов смотрел на Сережу с нескрываемой насмешливой нежностью. – Думаешь, мне было легче?

– Так ты – тоже?..

– Конечно. И я, и Некрасов, и кто угодно... Ну что, стреляться пока не будем?

– Смотря на поведение вашего сиятельства, которое, кстати, пять минут назад нанесло моей прическе оскорбление действием... Ладно, уже четвертый перекресток, намечаемый мной конечной точкой нашей небольшой прогулки. Я зачем-то понадобился Некрасову. Честь имею откланяться, comte, примите мои глубочайшие и тому подобное...

– Я знаю, зачем вы понадобились Некрасову, и не имею вас с этим поздравить, г-н прапорщик. – Зубов сопровождал слова шутливо церемонным, екатерининским плавным взмахом руки. – Ох и наешьтесь каши, Ржевский, общаться с эсеровской публикой!

– Г-н штабс-капитан!

– Вот что, Ржевский... – прозрачно взглянув на Сережу, Юрий взял из бювара запечатанный уже конверт. – первое ваше подпольное задание таково: завтра в четыре дня вы пойдете на контакт с эсеровской группой некоего Опанаса. В случае (этот вопрос вы зададите непосредственно Опанасу) гарантии полной согласованности боевых действий с моим планом... упомянете, что сами они представления не имеют о данном укрепрайоне... передадите этот пакет. Здесь он найдет... впрочем, он разберется сам. – Некрасов был бы искренне удивлен, если бы ему сказали, что нарочито пренебрежительная пауза и излишний, не относящийся к делу смысл продолжения фразы преследовали цель вызвать эту холодную вспышку ярости в глазах Сережи. – Этот Опанас, насколько я знаю, – боевик каторжной школы, очень опасен. Держитесь с ним корректно, как с союзником, – он должен видеть, что мы ведем с ним честную игру, на данном этапе наши цели совпадают. Их связной встретит вас у Елагина моста, на первом от входа парковом мостике. Оознавательный знак – этот томик Надсона. Ответ – сложенный листок бумаги. Вам понятны инструкции?

– Так точно, г-н штабс-капитан! – Сережа, прежде чем положить книгу во внутренний карман куртки, с демонстра-

тивно насмешливой улыбкой пробежал глазами титульный лист. – Спасибо, что не Ивана Рукавишникова⁴⁹.

⁴⁹ *Рукавишников И. С.* (1878–1930) – поэт серебряного века, прозаик, переводчик. В поэзии тяготел к символизму.

Дребезжащий вагон, зазвенев плохо пригнанными стеклами, остановился, немного не доехав до Елагина моста. Обрадовавшись возможности покинуть переполненный трамвай, Сережа спрыгнул с подножки, не дожидаясь, пока вагон тронется вновь. Дорога до назначенного мостика заняла быстрым шагом не более пяти минут. Взглянув на часы, Сережа убедился, что пришел почти на полчаса раньше. Вытаскивать треклятый томик Надсона было, очевидно, рано. «И собственно, почему морщиться при слове „Надсон“ является признаком хорошего тона? Я пошел давеча у этого обычая на поводу, хотя скорее это был повод хоть как-то взбесить Некрасова. Но Надсона я тронул ради этого зря. Он не поэт, но он как-то слишком беззащитно чист, и морщиться на него грязновато...»

Сережа, насвистывая, прошелся несколько раз туда и обратно по мостику. Мимо прошли красный курсант, обнимающий за талию девушку в кожаной юбке и лихо заломленном берете. Курсант на ходу скользнул по Сереже настороженно-подозрительным взглядом. «Нюхом, что ли, чуют?» Сережа, продолжая насвистывать, склонился над чугунными перилами, наблюдая колеблющееся отражение колыхаемой ветром листвы в неподвижной воде. Прошли еще два курсанта – до Сережи долетели слова «набор» и «допшаек».

– Послушайте, милый юноша, доставайте немедленно то, что должны показать, и следуйте поживее за мной, если, конечно, не сошли с ума окончательно!

Сережа, вздрогнув, с изумлением обернулся на неожиданно возникшую за его спиной девушку лет двадцати. В голосе ее звучало еле сдерживаемое негодование.

– Простите, mademoiselle?

– Ну же! Я жду!

Девушка, лицо которой было затенено складками ажурной черной шали, нетерпеливо топнула ногой. Нога, мелькнувшая из-под облегающей черной юбки, была маленькой, узкой, обутой в открытую черную туфельку, державшуюся на трех переплетенных тесемках не шире часового ремешка. Ее платье, открывающее руки выше локтей, еще годилось для ресторанного зала, но представлялось просто невозможным на улице и в дневное время. Однако то, что в первое мгновение подумалось Сереже, было несомненной ошибкой.

Продолжая недоумевать, Сережа вытащил из кармана лиловый томик Надсона в скороходовском издании.

– Все верно. – Щелкнув серебряным замочком маленькой шелковой сумочки, девушка вынула и показала Сереже сложенный вчетверо листок чистой бумаги. – Идемте! Не спешите слишком явно. Возьмите меня под руку. На ту скамейку ненадолго сядем.

Приноравливаясь к мелкому шагу девушки, Сережа пошел неторопливой, прогуливающейся походкой, почти от-

крыто рассматривая обращенное к нему в три четверти лицо. Незнакомка оказалась старше, чем по первому впечатлению, – ее чрезмерно узкое, с японскими глазами и острыми скулами бескровное лицо было тронато у рта и век сеткой еле обозначенных усталых морщинок. Это придавало лицу отпечаток какой-то трагической, беззащитной хрупкости. Хрупкой и узкой казалась и лежавшая в Сережиной руке маленькая рука, украшенная тоже очень «не дневным» браслетом: сплошь уложенные пиропы образовывали обвившуюся вокруг руки змейку. Это был модерн в самом изысканном своем воплощении.

– Гранаты вовлекают в гибельные страсти всех, кроме Дев и Стрельцов, – перехватив Сережин взгляд, неожиданно произнесла девушка. – Чем сильнее вовлекают, тем ярче горят. Но мне это безразлично. Это – подарок Артюра. Он сам это сказал, но все же подарил. Может быть, именно поэтому. Артюр – мой жених, который погиб в особняке Морозова в Трехсвятительском. Он был с Поповым⁵⁰.

«Ох и наешьтесь каши, Ржевский, общаться с эсеровской публикой!» – прозвучали в ушах шокированного Сережи веселые слова Зубова.

– Если это не прозвучит нескромностью, *mademoiselle*, – чуть отстраненно проговорил он, опускаясь рядом с незна-

⁵⁰ Попов Д. И. (1892–1921) – балтийский матрос, начальник боевого отряда ВЧК, активный участник восстания левых эсеров в Москве в 1918 г. Позже – один из руководителей Повстанческой армии Махно.

комкой на скамью, – позвольте узнать, как мне надлежит обращаться к вам, можно ли мне будет представиться и чем я только что имел несчастье вызвать ваше неудовольствие?

– Надо же иметь голову на плечах! – По бледным губам эсерки скользнула похожая на тусклую бабочку улыбка. – Чем вы занимались на мостике?

– С вашего позволения, любовался игрой отражений в воде.

– Своевременное занятие. А больше вы таки ничего не делали?

– Размышлял о Надсоне.

– Мило. Только помимо этого вы еще и насвистывали.

– Простите?

– Не делайте таких изумленных глаз. «То ли дело, то ли дело под шатрами...» Прибавьте к этому выправку. Рядом – училище комсостава. То, что вас не сгребли под белы ручки для выяснение личности, я могу объяснить только клиническим идиотизмом курсантов, что гуляли вокруг.

– «В поле лагерем стоять!» – Сережа негромко расхохотался. Засмеялась и незнакомка: смех ее показался Сереже неожиданно живым и тоже чуть фарфорово-японским. – Mademoiselle, я – осёл! Но теперь мне ясно, почему вы узнали меня раньше, чем я вытащил Надсона.

– Очень трудно было бы не узнать и без этого. Беда с вами – вы все, монархисты и кадеты, не имеете ни малейшего понятия о конспирации.

– Не судите строго, mademoiselle, мы – военные, а не заговорщики.

– В том-то и дело. Что же до первых ваших вопросов – мы слишком ненадолго друзья, и наш строгий принцип – чем меньше информации друг о друге, тем лучше. Не будем отступать от него и в малом. Моя партийная кличка – Елена. Этого довольно. Представьте одним именем или назовите звание – для обращения.

– Je suis un enseigne⁵¹. – Сережа, невольно скривившийся от слов «партийная кличка», непроизвольно подчеркнул свою политическую означенность, выбрав из предложенного звание, а не имя. – Но все же мне не хотелось бы обращаться к вам с незаслуженной мной короткостью. Может быть, снисходя к моим монархическим предрассудкам, вы назовете отчество?

– Я – Елена.

Ронстон... На какое-то мгновение Сереже показалось, что с губ девушки на самом деле слетела эта таинственно влекущая фамилия... Бред... Но непонятный стиль ее облика стал ясен отчетливо и мгновенно. Вкус в безвкусице, томный надлом всех сплетающихся в экзотический цветок модерна линий, ночной облик среди дня, чуждый дню – богема. Женькина петербургская жизнь. Каким Женькиным повеяло сейчас от этой усталой девушки!..

– Артюр – тоже кличка?

⁵¹ Я прапорщик (фр.).

– Разумеется. Мертвых можно называть по именам – Владимир Гончаров. – Девушка тронула тонкими, с синеватыми ногтями пальцами край шали. – Мы обручились еще в гимназии, мы были одноклассниками. Артур был тогда милым мальчиком вроде вас, но в нем уже проглядывала схожесть с его кумиром, имя которого он взял. Он был из лучших наших боевиков. Впрочем, вам, монархисту, непонятно, что такое боевик.

– Вероятно, – не вдумываясь, ответил Сережа, следя за ленивым движением маленькой ноги, очерчивающей полукруг по песку перед скамейкой.

Как туфель черная тесьма
Тройным сплетается извивом...

«Из какого-то номера „Аполлона“... Чьи? Что там еще было?»

Принять ли подлинно за ложь
Твои небрежные признанья,
Что восемь жизней ты живешь... —

негромко процитировал он вслух.

Храня о всех воспоминанья, —

совсем тихо продолжила Елена.

– Вы помните это стихотворение?

– Нет, только сейчас вспомнила.

– Я тоже.

Девушка окинула Сережино лицо внимательно-напряженным взглядом, словно что-то отыскивая в нем. Губы ее дрогнули.

– Нам пора.

Штаб-квартира группы Опанаса, помещавшаяся в небольшом доме недалеко от Елагина моста, оказалась на старый лад двухэтажной, по первому впечатлению Сережи, уютно запущенной в сравнении с военизированной строгой холодностью монархистской явки. От окурков и ореховой скорлупы на ковре, грязной обивки кресел, тарелки с огрызками сыра, забытой кем-то на покрытом дорогой камчатой скатертью круглом столе, – от всего этого ярко освещенного вечерним солнцем в высоких узких окнах беспорядка веяло все той же беззаботной жизнью богемы. Впрочем, грязи было все-таки слишком много. Словно окончательно утверждая богемную атмосферу этого обиталища, над облезлым беккеровским роялем висел портрет Рембо, сделанный в карандаше каким-то любителем.

– А-а, ты с золотопогонником!.. Я и за... – Конец фразы увяз в тяжелом мокром кашле. Человек, полулежащий в качалке в углу, образованном ведущей наверх некрашеной лестницей, поднес ко рту платок. – Я и забыл. – Эсер впился в Сережу цепким, внимательным взглядом. Очень худой, лет тридцати на вид, одетый, несмотря на жару, в широкую цигейковую душегрейку, с всклокоченной копной черных вьющихся волос, с хищновато резкими чертами лица и неестественным румянцем на впалых щеках, он выглядел очень

больным. – Что ж, составим знакомство. Марат.

– Прапорщик Сергей Ржевский.

– Фу-ты ну-ты, как громко! – Эсер обернулся к Елене. – Что ж ты не предупредила их благородие, что мы на лишнюю откровенность не напрашиваемся?

– Благодарю вас, я был предупрежден. Я представился невольно: у меня нет привычки где бы то ни было скрывать свое имя. Да и особой необходимости в этом я не вижу. Я могу видеть Опанаса?

– Скоро будет. – В голосе Марата прозвучала насмешка. – Располагайтесь как дома, г-н прапорщик, у нас без церемоний.

– Благодарю вас, не беспокойтесь.

На потертом амбирном диване в беспорядке лежало несколько книг. Сережа с демонстративной непринужденностью уселся поудобнее и небрежно взялся за их изучение. Первая книга оказалась лондонским изданием Бердслея, вторая – дореволюционным сборником народовольческих песен. Другие книги были по большей части разрозненными номерами старых журналов. Потрепанную «Ниву» Сережа заметил и на коленях покачивающегося в кресле Марата.

– А что, разве Искандер с Опанасом? – Елена сняла шаль. Ее недлинные блестящие волосы, схваченные только одной бархатной ленточкой, упали на плечи.

– В том-то и дело, что нет. Не знаю, куда он сорвался. Бес-

покоюсь я за Сашеньку: что-то зарвался мальчишка. Взбесился с утра до истерики – видишь стекло? Маузером грохнул, рукояткой. И умчался. Я, как назло, валяюсь сегодня мертвяк мертвяком – не мог задержать.

– А не нанюхался он?

– Не похоже.

– Из-за чего тогда взбесился?

– Ясно, из-за чего. – Марат скрипнул зубами. – «Я им, падлам, покажу, кто разоружился! Боевики не разоружаются!...»

Лениво перелистывая плотные страницы, Сережа, исподволь наблюдавший за Еленой, увидел, как в ее лице проступила ненависть, странно смешанная с отчаянием. Смысл полунепонятного диалога нес в себе что-то нехорошее, но прозвучавшая в нем открытая и естественная забота друг о друге против Серезиной воли вызвала у него симпатию. На него словно повеяло полузабывшейся искренностью несветской Москвы, давней Москвы, где не так стремятся скрывать слезы за отрепетированными улыбками, а волнение за непроницаемой бесстрастностью... Эти люди не находили нужным скрывать свои чувства. Перед Серезей возникло холодное лицо Некрасова. Поддаваясь неожиданно всколыхнувшейся в душе тоске по родной среде, он не помнил и не хотел помнить о том барьере отчужденности, который сам аристократически возводил между собой и другими в искреннем мире демократичной Москвы... Только неосознанное стремле-

ние всегда идти наперекор тому, что принималось всеми вокруг, заставляло его скучать по московской открытости там, где эталоном поведения была отчужденная холодность вышколенного офицерства. «Один Зубов... Но Зубов вернется нескоро», – вспомнил Сережа своего спасителя.

– Ты опять кашляешь?

– Не видишь, что ли? – заходясь кашлем, зло огрызнулся Марат.

Елена, нимало не обидевшись на явную грубость, взяла со стоявшего рядом с качалкой столика высокий пузырек и начала отсчитывать в стакан капли. Сережа почти физически ощутил, как падает на лицо невидимое ледяное забрало: отсутствие барьеров и внимание друг к другу выливалось у этих людей во взаимное неуважение, в котором таился тяжелый, пронзительный надлом. Надлом и истерика, повисшая в воздухе. Сережа перевел взгляд на разбитое окно.

Сосредоточиться на Бердслее было невозможно и, кроме того, не очень хотелось. Сережа нехотя поднялся с дивана и подошел поближе к карандашному портрету.

– Рисунок не очень хорош. – Неслышно подошедшая сзади Елена встала рядом с Сережей.

– Я бы не сказал, хотя недостает техники. Но зато хорошо схвачено выражение. – Сережа смотрел уже не на портрет, а прямо в тревожные глаза Елены.

– Артюр рисовал его еще в гимназии. Я говорила вам о том, что Рембо очень много для него значил.

– Это не странно. Его поэзия – своего рода магнит для всех, кто силен.

– Чему вы улыбаетесь?

– Так, пришла забавная мысль. – Сережа снова обернулся к портрету. – На заре правления Менелика⁵² пришел и встал на его сторону с оружием в руках один европеец, на закате – другой. И оба – великие поэты.

– Гумми? – Елена пренебрежительно усмехнулась. – Он – монархист.

– *Moi aussi*⁵³.

– Нелепость какая-то... – Елена взглянула на него недоумевающе и растерянно. – Мы же враги.

– Сейчас – нет. – Сереже было непонятно, почему выговорить эти такие естественные с точки зрения логики слова стоило внутреннего усилия.

– Сейчас – нет, – каким-то тусклым и отсутствующим голосом повторила за ним девушка, поднося ко рту длинную папиросу.

Папироса была не зажжена, и, обнаружив это, она усмехнулась своей забывчивости. Сережа чиркнул о подоконник спичкой и, протянув ей огонь, закурил сам.

⁵² *Менелик* II (1844–1913) – император Эфиопии с 1889 г.

⁵³ Я тоже (*фр.*).



– Но надо вам сказать, что Рембо любят и монархисты.

– «Я протянул золотые цепи...»?

– Хм, да. И это.

– Чему вы морщитесь?

– Не люблю, когда Рембо цитируют по-русски. Его невозможно переводить.

– Вы, г-н монархист, церковно-приходское оканчивали? – Марат, приподняв всклокоченную голову от журнала, качнулся в качалке.

– Не строй из себя осла. – Елена с выражением мучительного внимания обернулась к Сереже: – Мне кажется, я понимаю вашу мысль. Ведь étoile – это не «звезда», не правда ли?

– Я это имел в виду. «Étoile» – нечто из картинок Рождества. Покрытое сусальной позолотой. Сусально золоченые, они висят в черном праздничном небе, и между ними-то и можно протянуть золотые цепи. А между звездами – нет. «Звезда» – не étoile, но и не star. Star существует неотделимо от пейзажа. Тает снег, падает листва, star заходит... Единое целое, не так ли? Étoile – то, к чему можно подвесить золотую цепь. star есть, пока ее видно, а звезда... Звезда всегда есть. Русское восприятие совсем иное.

– «Лучей твоих неясной силою...»

– Да... «Одна заветная...» Более, извините за дурной каламбур, астральное понятие.

– A fenêtre?

– И fenêtre не «окно». «Окно», «око» – то, чем смотрит дом. Взгляд изнутри наружу. «Прорубить окно в Европу»... Fenêtre не прорубишь. Fenêtre – освещенное фонарем из темноты... Через переплетения ветвей ночного сада... А в нем – движение теней... Волшебный фонарь. Взгляд снаружи внутрь. Тут можно повесить гирлянды от одного к другому...

Сережа, словно не замечая недовольных взглядов Марата, продолжал говорить и одновременно мучительно перебарывал ощущение раздвоения в душе: «Ничего не понимаю... Мы – люди одной культуры, которую мы сейчас и защищаем. Это – выше всего, даже моего дворянства, которое я, впрочем, ни одной сволочи не дам отменить... Мы – люди одной культуры».

– А гирлянды – цветные фонарики. Потому, что в этой строке передано впечатление от освещенного в темноте.

– А по-русски получается, что гирлянды висят внутри дома.

На щеках улыбнувшейся Елены проступил слабый румянец, и это сделало ее особенно беззащитной – невозможно было представить, что за худенькими плечами этой девушки стоит по меньшей мере десяток спокойно взвешенных и хладнокровно исполненных убийств.

В этом ощущалась невыносимая нелепость. Но именно противоестественное мужество Елены вызывало желание заградить, спасти, укрыть ее. Это неожиданное желание было

сильным, слишком сильным.

– Да, Рембо – самый непере译имый поэт, – продолжила она. – Помните «Парижскую оргию»? Ведь женщина, над которой надругались, – это Paris. А по-русски выходит совершеннейшая нелепость...

– От Кольки Кошелькова наше вам с кисточкой!

Это проговорил бесшумно вошедший в гостиную молодой человек лет восемнадцати-девятнадцати, одетый непривычно хорошо – в твидовый, по сезону, светлый костюм с зауженными брюками и накладными плечами, явно сшитый у портного. Обувь и гладкая прическа соответствовали костюму, однако в заурядной внешности вошедшего что-то ощутимо диссонировало с его элегантным нарядом. Это особенно проступило в его расхлябанной – руки в карманы – походке, когда он прошел к поднявшемуся ему навстречу и на его фоне выглядевшему особенно лохматым и неопрятным Марату.

– Здробво живешь, Марат! Лёлочка, целую ручки. «А может быть, в лимонном Сингапуре Огромный негр вам подает манто...»

– Маркиз! Режьте меня на куски, если это не Пашка собственной персоной! – обрадованно засмеялся Марат. – А мы с Искандером в прошлом месяце слышали – тебя замели!

– Ищи груздя в кузове. – Молодой человек присвистнул. Марат и Елена засмеялись.

– А чо, Искандер здесь? – Молодой человек вытащил из

золотого портсигара папироску с голубым мундштуком. – Я его, стервеца, не видал с тех пор, как мы втроем с Яшкой Блюмкиным в Москве с побрякушками шелушились...

– Яшка, падло, к бэкам перекинулся! – сквозь зубы процедил Марат. – Будь срок – своими руками пришью, гниду...

– Эх, «милые бранятся»... – Гость, которого Марат назвал Маркизом, жеманно рисуясь, выпустил папиросный дымок. – Глядишь, и не понадобится...

– На руках бэков – кровь братоубийства. – Голос Елены прозвучал металлически ровно.

«Некрасов прав». Эта мысль вспыхнула единственным логическим маяком, к которому стремились Сережины попытки хоть что-нибудь понять.

– Шальные вы, политика. – Гость зевнул. – То в обнимочку, то в резаловку... Мы дак с новой властью завсегда столкуемся... А уж с бэками – особливо. Первым делом – уговор дороже денег: мы их не замаем, они нас не обижают, сироток горемычных. К обоюдной, заметим, выгоде. Да и потом – завсегда жентельменское соглашеньице оформить можно: мы – вам, вы – нам...

– Шкуры вы все-таки – счетов не сводите.

«Кто – вы? – Сережина мысль отчаянно блуждала в алогичности какого-то сновиденного абсурда. – Не анархисты, потому что не политика. Кто же? С кем тут расклад и знают ли о нем наши?»

– Очень даже сводим, когда надобность. А насчет шкур

бабулька надвое сказала. Шкура, она, первое, у каждого одна и своя. А второе – на себя оборотись насчет бэков. Хоть табачок-то у вас и врозь, а хлебушек, бывает, и посеичас вместе.

– Бывает! – Марат усмехнулся.

– Сашка-то что?

– Да будет скоро. О деле сперва потолкуем, а встречу вспрыснуть уж потом?

– У Кольки на это железно. Потолкуем на тет-а-тет. А слышала, кстати, Лёлочка, как Колька на первомайскую в Москве фартово развлекся?

– Нет, Расскажи. – В голосе Елены звучал неподдельный интерес к словам этого нестерпимо вульгарного и не вызывающего доверия человека.

– Демонстрация, значит, от Никитских, – с явным удовольствием заговорил гость. – «Мир насилья разроем»⁵⁴, флаги, пролетарии, все чин чинарем, чекисты в коже. Вдруг навстречу мотор с открытым кузовом, мотор – посреди улицы, по тротуарам с боков по двое с винтарями. Извиняй, товарищи дорогие, частная собственность не одну душеньку православную на корню загубила. Будем от предрассудков высвободаться. Но народец, спасибочки бэкам, к экспроприациям попривык, не спорит. Доверху кузов накидали, пока до Манежа ехали, и котлами, и бумажниками.

– Времени не теряете! – хрипло рассмеялся Марат.

⁵⁴ Цитата из первой редакции текста «Интернационала».

С искренним удовольствием рассмеялась и Елена, Елена, несколько минут назад с увлечением говорившая о Рембо. Это было мучительно.

– Такое времечко, как нынешнее, терять грех! – усмехнулся гость.

– Эх, будь у Кольки голова на плечах, – Марат опять закашлялся, – с его силами – любое правительство в полдня скovyрнуть.

– А что нам с этого за приварок?

– Эх, шкуры вы, шкуры...

Сережины мысли снова вернулись к Зубову: «Ох и наешьте каши, Ржевский...» Такую кашу мог бы расхлебать только Платон, непогрешимое чутье которого позволяло ему беспечно разгуливать по Чрезвычайке. «Всю эту публику Платон знает лучше, чем она сама себя знает. Они не могут видеть себя со стороны, а он каким-то образом может изнутри наблюдать весь несложный механизм их душевных движений... Все должно быть просто, очень просто... Как тогда Платон все расставил по своим местам одной коротенькой фразой: „Чека – та же малина“. Именно в этот момент я понял все. Но для того чтобы так говорить, он должен был очень хорошо представлять себе, что такое настоящая малина... я этого не знал, поэтому и не мог понять сам... Господи! Дурак, как же я раньше не сообразил!»

Сережа тихо рассмеялся, с новым вниманием разглядывая гостя эсеров, – казалось, что каждая вульгарная чер-

та этого человека являлась теперь лишним подтверждением несомненной разгадке.

– Слушай, а это что за фраер? – с вызывающей расстановочкой процедил гость, обращаясь к Марату. – Что-то мне его портрет незнаком. Ты, парень, представься для политесу! Заодно уж скажи, что тебя разбирает, вместе посмеемся. А то слова не сказал, уставился, как солдат на вошь, да еще зубы скалишь. Оно ведь и обидеться можно.

– Если у тебя, – Сережа медленно поднялся и с неподвижным лицом сделал шаг по направлению к Маркизу, – еще раз, скотина, повернется язык тыкать офицеру, в следующую секунду ты у меня окажешься двадцать вторым.

– Миль пардон! – Молодой человек с шутливым испугом, но довольно поспешно отступил к стене. – Не заметил по глупости, что Юденич в Питере.

– Без шуток, скоро будет. Ладно, пошли потолкуем. – Марат, под локоть увлекая гостя к двери, ведущей в комнатку под лестницей, на ходу обернулся к Сереже: – А вы, прапорщик, все же не у себя на плацу.

Сережа пожал плечами. Собственная вспышка уже казалась ему немного смешной. На некоторое время в гостиной воцарилась неловкое и напряженное молчание.

– Почему вы сказали – двадцать вторым? – заговорила наконец Елена. – Вы считаете? Зачем?

– Не нарочно. Я не знаю, почему так получается. Может быть, просто хочется знать, сколько раз меня следовало

бы приговорить к пожизненной каторге по законам мирного времени. И к смертной казни. Иногда странно осознавать себя убийцей, которому незачем скрываться. Мне девятнадцать лет, убийство в год – не хватило бы моей жизни. После этого довольно смешно вспоминать о нашумевших газетных процессах. Двоих – шашкой. Я делаю сегодня много глупостей. Если бы я пристрелил этого подонка, вышла бы масса нежелательных осложнений между нами.

«А ведь я не поручусь, что не хотел осложнений. Может быть, поэтому я взорвался. Меня, как мальчишку, против моей воли тащит по течению, и я впервые в жизни хочу провалить порученное мне задание. Более того, я хочу нарушить приказ. Однако это немыслимо, почти невозможно, – я заставлю себя его выполнить».

– Нет, это не было глупо. Вы были в этот миг невероятно хороши. Вы сами не можете представить – до чего вы были хороши. – Елена подошла к Сереже, она дышала взволнованно и часто. – Вы казались таким безобидным щенком, и вдруг на мгновение мелькнули зубы зверя, который в вас есть... Господи боже мой, ведь самое ужасное в том, что вы правы...

– Я? В чем?

Вопрос был задан машинально: Сережу поразило лицо Елены, исказившееся словно в неожиданном испуге приступа удушья. Еще мгновение – и она, бросившись на диван, за-

билась бы в хриплом крике истерического припадка... Этот воющий, захлебывающийся крик выплескивался из ее взгляда, рвался с полуоткрывшихся губ...

Почему он утонул в темноте зрачков, этот крик? Еленино лицо сделалось бесконечно старым.

– Когда был Артюр... когда мы были моложе, – наконец заговорила она, – все было не так. Мы были... гордыми, мы были возвышенными, а теперь... Теперь!.. Бьемся, как мухи, в нами же сплетенной паутине... Артюр еще был жив, когда мы впервые не на словах стали доказывать, что цель оправдывает... средства... Но тогда еще не было так видно, к чему это приведет... А теперь?! Теперь?

– Послушайте, – справляясь с перехватывающим дыхание спазмом, быстро заговорил Сережа, – зачем вы берете на себя мужскую ношу? Такую ношу, зачем?.. Господи, да неужели же эти... ваши друзья не видят, что вам надо отдохнуть от всего этого кошмара?

– Это невозможно. – Елена, не отводя глаз от Сережиного взгляда, горько усмехнулась. – Поймите, во мне давно уже нет ничего, кроме убийства. Я уже не Елена: сгорело все, остался один пепел.

Сереже показалось, что обращенные к нему молящие черные глаза приняли лишенный блеска цвет выжженной земли – вспомнилась выгоревшая после какого-то боя степь на Дону.

– Я уже не могу не убивать, я уже давно – машина, кото-

рую кто-то завел... Смысл, который в этом был, тоже сгорел. Вчера – вас, сегодня – бэков, кого завтра? Все смешалось, потерялось все, чему мы служили... Я уже ничего не понимаю. Только привычка убивать – это единственная оставшаяся реальность, без этого меня вообще не было бы... Простите. Я должна привести себя в порядок.

Елена поднялась и неверной, спотыкающейся походкой вышла из гостиной. Сережа остался один.

«Так страшно мне уже не было давно. И такого невыносимого ощущения собственного бессилия я не испытывал даже на Гороховке... Когда до такой степени ничего не можешь сделать...»

Сережа подошел к портрету Рембо, от него – к выходящему в заросший тополями двор окну. Несколько шагов отделяло окно от двери в комнату Марата: до Сережи донеслись невнятные голоса собеседников.

«Но если мы будем некоторое время контактировать... Может быть, все же... Почему – если? Ведь именно для того, чтобы установить этот контакт, я и нахожусь здесь», – мрачно продолжал размышлять он.

Из окна с разбитой створкой потянуло сквозняком: дверь в комнату под лестницей со скрипом приотворилась. Сережа увидел Маркиза, в демонстративно развязной – нога на ногу – позе развалившегося за столом. Маркиз курил, глядя через стол, – видимо, на Марата.

«Машина, которую кто-то завел... А кто завел всю

эту машину, весь этот многоступенчатый механизм бойни? Есть ли в этом чья-то осознанная воля или это уже просто вырвавшийся наружу, пугавший древних всепожирающий Хаос? Если бы понять хотя бы это!»

– Мокрухи боитесь? – донесся до Сережи неожиданно севший презрительный голос Марата.

– Наш профиль – галантерея. – Гость еще развязнее уселся на стуле. – Все выгоднее становится работать – что с бэками, что с вами... Вам – маму родную не жалко, хлебом не корми, дай под стрельбу сунуться. А бэки, наоборот, трусливее стали, зажрались... И честности промеж них мало – помнишь небось лбовские денежки⁵⁵?

Сережа с отвращением отошел от окна.

– Я прошу меня извинить. – Опухшее от слез лицо подошедшей Елены было уже спокойным. Приглаженные волосы еще блестели от холодной воды. – Я, вероятно, больна. Не знаю, что на меня нашло.

– Это я должен у вас просить прощения. Я коснулся того, во что не имею никакого права вмешиваться.

– Вы правы.

– Выходит, я запоздал.

При этих без усилия громко прозвучавших словах лицо Елены мгновенно сделалось собранным и строгим. Тот, кто

⁵⁵ *Лбовские денежки* – Речь идет об А. М. Лбове (1876–1908), известном «экспроприаторе», то есть идейном грабителе от РСДРП времен революционных событий 1905 г. и более поздних. Инициатор ряда крупных ограблений с человеческими жертвами. В 1908 г. приговорен к смертной казни через повешение.

произнес их, был вновь вошедший в комнату человек лет пятидесяти, широкоплечий и высокий, с наголо бритой, крупной, выразительной лепки головой (лохматые брови и длинные усы обнаруживали седину), в вышитой крестом красными и черными нитками сорочке, ворот которой виднелся из расстегнутой тужурки. Он окинул Сережу тяжелым и острым взглядом глубоко посаженных маленьких глаз.

– Полагаю, что вы ждали меня. Я – Опанас.

«Хоть бы одна вылазка без перестрелки... Голова как с похмелья». Некрасов взглянул на часы, слегка досадуя на отсутствие Сережи: его донесение висело последним делом, еще не завершенным за день.

Скользнув взглядом по книжной полке, Юрий остановился на латинском томике карманного формата. Это было описание войн с Ганнибалом. Профессионально предпочитающий античные описания военных кампаний строкам Катулла, Юрий прилег с записками на диван и, пролистав большую часть книги, углубился в последнюю африканскую кампанию полководца. Звонок оторвал его от битвы при Заме, на которой он, по сохранившейся с юнкерских времен тайной привычке, невольно начал просчитывать контрдействия, предпринятые бы им на месте римского военачальника.

«Выслушать Ржевского – и спать! К черту!»

– Некрасов! – Голос Стенича за дверьми прозвучал встревоженно.

– Да, я сейчас выйду.

Юрий накинул куртку, но выйти в гостиную не успел: дверь растворилась ему навстречу. Худощавый пожилой человек, закрученными усиками и какой-то немецкой сухостью невольно вызывающий в памяти фотографические

портреты кайзера Вильгельма, торопливо кивнул Юрию.

– Ну и заварили же вы кашу, штабс-капитан!

– Г-н полковник?

– Вот уж не думал, что сегодня придется встречаться с вами вторично. – Люндеквист устало опустил на стул. – Скажите, Некрасов, вы действительно вступили в переговоры с эсерами?

– Да. Я имел на это полномочия. Хотя я не вполне понимаю, откуда вы это уже узнали.

– К сожалению, от Чеки.

– Признаться, г-н полковник, вы высекли меня, как мальчишку, – проговорил наконец Некрасов.

– Вы намерены привлечь группу Опанаса для совместных боевых действий. Это на самом деле так?

– Да. Ничего не понимаю. – Юрий коснулся ладонью лба. – У Чеки не может быть так хорошо поставленной агентуры.

– У Чеки ее нет. – Люндеквист вытащил из кармана короткую трубку с янтарным мундштуком. – Сколько вам лет, Юрий Арсениевич?

– Двадцать семь.

– Так неужели я, – а ведь я вам в отцы гожусь, – должен объяснять, что ваши понятия катастрофически устарели? Мы воюем с противником принципиально нового типа, а вы действуете по старинке... Большевики и эсеры взаимодействуют на межличностном уровне даже тогда, когда идет повальное истребление одними других. Ваши планы выплы-

ли наружу благодаря случайности. Эсер Розенталь, по кличке Малиновка, год назад разругавшийся с Блюмкиным на амурной почве, с ним на днях помирился и в результате разошелся с группой Опанаса, где к Блюмкину отношение очень плохое. И ваши секреты вместе с носителем оных благополучно расположились в Чеке. Случайность, но очень типическая. Они варятся в одном котле – для чего тут агентура? Любые сведения, полученные эсерами, приплывут к большевикам, как хлеб по водам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.